Жизнь Пушкина

ГОНЧАРОВА И ДАНТЕС

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

АЛЕКСАНДРА АРАПОВА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Александра Петровна Арапова (1845–1919), старшая дочь Наталии Гончаровой от второго брака, крестница Николая I, фрейлина императорского двора, оставила бесценные воспоминания о своей матери, которые доносят до нас события жизни жены Пушкина, не искаженные временем. Основанные на собственных наблюдениях, рассказах знакомых, прислуги, слухах в великосветском обществе, а также свидетельствах самой Наталии Николаевны, они представляют непреходящий интерес. Особенно важными по сей день остаются сведения Араповой о взаимоотношениях поэта с Александрой Гончаровой и свидании Н. Н. Пушкиной с Дантесом у Идалии Полетики. В книгу вошли также биографический очерк Жоржа Дантеса, написанный его внуком Луи Метманом, воспоминания Льва Павлищева, сына сестры Пушкина, и свидетельства современников поэта, по-своему проливающие свет на причину рокового поединка.

- А. П. Арапова
  -
  - А. П. Арапова
  - Анонимный пасквиль
  - Л. Н. Павлищев
  - Луи Метман
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62

- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81

А. П. Арапова
Гончарова и Дантес. Семейные тайны
(Составление Т. И. Маршковой)

© Маршкова Т. И., составл.,
© ООО «Издательство Алгоритм», 2014

А. П. Арапова
Наталья Николаевна Пушкина-Ланская
Из семейной хроники жены А. С. Пушкина

Вместо предисловия

Так часто в газетных статьях, литературных изысканиях появлялись не только несправедливые, но зачастую и оскорбительные отзывы о моей матери, что в сердце моем давно зрела мысль высказать всю правду о ее так трагически сложившейся судьбе.

Перед беспристрастным судом истории и потомства я попытаюсь восстановить этот кроткий, светлый облик таким, как он запечатлелся в тесном кругу семьи и редких преданных друзей. Влюбленный муж с чуткостью гениального поэта охарактеризовал свою Мадонну:

Чистейшей прелести чистейший образец, —

и на это сияние тщетно посягала легковерная, праздная толпа.

В предсмертных муках, омыв кровью свою будто бы поруганную честь, Пушкин ясно сознавал, какое тяжелое бремя он необузданным порывом взвалил на плечи неповинной жены: «Бедная! Ее заедят!» – с любовью заботясь о ней, поручал он ее своим близким друзьям.

И зловеще оправдалось пророческое слово! Она не принадлежала к энергичным, самостоятельным натурам, способным себя отстоять. Налетевший ураган надломил ее пышно расцветшую молодость, и с той поры вся ее жизнь улеглась в тесную рамку кротости и смирения. Она была христианкой в полном смысле этого слова. Грубые нападки, ядовитые уколы уязвляли неповинное сердце, но горький протест или ропот возмущения никогда не срывался с ее уст. Единственный только раз укором прозвучал вырвавшийся вопль измученной души, и полвека спустя он еще явственно раздается в моей памяти.

В ее присутствии отец строго остановил меня за осуждение какого-то лица, слишком резко выраженное в мои юные годы, и в заключение добавил:

– Кажется, на что тебе лучше пример в глазах: довелось ли тебе когда-нибудь услышать от матери про кого-либо дурное слово?

– Да, это правда, а, тем не менее, пощадил ли меня кто-нибудь?

И теперь еще в моем воображении стоит чудный облик с беспомощно склоненной головой.

Смерть своим таинственным покрывалом сглаживает все, умиротворяя самую страстную вражду. Недаром людская мудрость изрекла: de mortuis aut bene – aut nihil[1], а христианская церковь обещает своим верным последователям вечный покой. Для моей матери закон этот был нарушен, – вероятно, и еще будет нарушаться.

Целую бурю негодования вызвало опубликование писем Пушкина к ней. Чутким сердцем она ее предугадала и поставила непременным условием, чтобы они появились только по смерти моего отца, боготворившего ее светлую память. Нам, ее детям, – как Пушкиным, так и Ланским, – эта газетная травля принесла много тяжелого горя.

В этом сонме ученых, философов, литераторов не нашлось человека, которому бы здравый смысл и жизненный опыт подсказал ту простую истину, что только женщина, убежденная в своей безусловной невинности, могла сохранить (при сознании, что рано или поздно оно попадет в печать) то орудие, которое в предубежденных глазах могло обратиться в ее осуждение.

Пушкин в письмах укорял жену в кокетстве, легкомыслии, пристрастии к светской жизни… Это был лишь отголосок той среды, где она вращалась, плоды воспитания первой половины прошлого века, но до нравственного падения тут была целая пропасть. Будь она в самом деле преступна, неужели она бы так доверчиво бросила на суд толпы доселе скрытые стороны своей семейной жизни, изведав в течение стольких лет муку, причиненную ей злобными подозрениями тех, кто ей приписывал преждевременную смерть мужа, – и какого мужа! Гения, оплакиваемого всей страною! Мне сдается по простой женской логике, что именно эта супружеская переписка должна была восстановить в полном блеске добрую память матери, а не вызвать той жестокой оценки, тех комьев грязи, которые безжалостно осыпали ее священную для нас могилу.

Еще с молодых лет меня преследовало желание описать жизнь матери по семейным преданиям, начертить ее духовный

облик так, как он запечатлелся в моей восемнадцатилетней голове, и это побудило меня к первому опыту литературного труда. Современники отнеслись к нему снисходительно, но, тем не менее, я остановилась на пути. Слишком близок к сердцу был сюжет, слишком тяжела ответственность не совладать с преследуемою целью. То смущала мысль: зачем тревожить дорогую тень, так измученную воспоминаниями прошлого, так всегда стремившуюся к безвестности и успокоению? То возникал вопрос: какую силу убеждения может иметь бесхитростный рассказ дочери? Всякий волен подумать, что правда и истина невольно растворяются в чувстве благоговейной привязанности.

Теперь, когда я перешагнула шестой десяток лет, в виду близкой могилы, сомнения улеглись. Не хочу унести с собой то, что может вызвать интерес в грядущем поколении. Бессмертное имя Пушкина продолжает сиять по-прежнему даже в страждущей России, а память матери неразрывно связана с ним.

В этих строках прозвучит только правда, и я верю в ее мощь. Может быть, в чьем-либо воображении навеянный облик бездушной, легкомысленной красавицы сменится изображением кроткой, страдающей жены, любящей, преданной до самозабвения матери, – тогда я буду у цели и, сомкнув усталые глаза, радостно скажу: «Недаром прожила!»

I

Наталья Николаевна Гончарова родилась 27 августа 1812 года в майоратном имении «Полотняные Заводы» в Калужской губернии, под доходивший гул Бородинской битвы. Она всегда говорила, что исторический день лишает ее возможности забыть счет прожитых годов. Все воспоминания ее раннего детства сосредоточивались в этом родном гнезде, в ту пору еще сохранявшем безумную роскошь миллионного состояния Гончаровых, доведенного до полного расстройства расточительностью ее деда, Афанасия Николаевича.

Одним из первых пионеров русской промышленности был ее прапрадед, Афанасий Абрамович, крестьянин-самородок, обративший на себя взимание Великого Петра своей гениальной предприимчивостью. С его помощью он основал первый завод, на котором изготовлялись полотна для парусов; за успехом этого завода царь следил, несмотря на все свои государственные заботы.

В семейном архиве сохранился автограф Петра, писанный из Голландии, в котором он уведомляет Гончарова, что нанял там и

высылает ему мастера, опытного в усовершенствовании полотен, а если выговоренная плата покажется ему слишком высокой, то он готов половину принять за счет царской казны. И в каждом важном случае Гончаров свободно прибегал к доступному всем Преобразователю России, никогда не отказывавшему ему в наставлении или добром совете. Работая не покладая рук, развивая и улучшая насажденное им производство, Афанасий Гончаров умер, на твердом основании упрочив свое богатство. Сын его, верный заветам отца, продолжал ту же трудовую жизнь. Поместья покупались, оборотный капитал рос с каждым годом, доходы баснословно увеличивались до рождения Афанасия Николаевича, деда Натальи Николаевны.

Единственный сын, балованный, легко увлекающийся, – он с молодых лет поддался растлевающему влиянию екатерининской эпохи, а со смертью отца, став полным властелином, он сбросил обузу дел на руки управляющих, а сам признал достойной себя заботой только планы, как пышнее обставить свою жизнь или как придумать какую-нибудь еще неизведанную забаву.

Сокровища, накопленные до него, казались ему неистощимыми. Императрица Екатерина, путешествуя по России, обещала ему посетить Полотняные Заводы, и новые причудливые постройки выросли из земли, чтобы достойно принять высокую гостью. Ничего не пожалели, чтобы разукрасить покои на самый вычурный, роскошный заграничный лад. Гончаровская охота славилась чуть не на всю Россию, а оркестр из крепостных, обученный выписанными маэстро, и в столицах мог бы занять почетное место. Все эти затеи еще покрывались доходами с заводов и имений, пока тяжелый наследственный недуг не обрушился на жену Афанасия Николаевича, Надежду Платоновну, урожденную Мусину-Пушкину. Она сошла с ума, и не сдерживаемый более ее влиянием, он, уже на склоне лет, предался с юношеской необузданностью страсти к женщинам. Казалось, красавица-любовница всецело завладевала его сердцем и волею; он ничего не жалел для малейшей ее прихоти, но случай наталкивал его на другую, и он моментально охладевал, думал только, как бы поскорее сбыть с рук. Подсовывал жениха, если была незамужняя, отписывал дом в Москве или крупную вотчину, и одновременно все пускал в ход, чтобы достигнуть новой цели. Чем намеченный предмет был или притворялся недоступнее, – тем страсть разжигалась сильнее, и соблазняющие жертвы принимали все более крупные размеры. Дома и имения если не раздаривались, то продавались за бесценок в минуту нужды. Из крупного оборотного капитала постоянно делались заимствования, что не могло не повлиять на успешный ход

фабрик. Весьма скоро объемистые, из доморощенного полотна, туго набитые золотом мешки, громоздившиеся по углам кабинета владельцев, так привычные взорам гончаровской челяди, успели отойти в область легенды.

У Афанасия Николаевича был только единственный сын, в котором он и жена его души не чаяли. Высокий, стройный, с классически правильными чертами лица, богато одаренный природой, он рос им на радость, окруженный самыми нежными заботами. По повелению императрицы Екатерины, с самого рождения он был зачислен капралом в Конный полк, но эта высокая, по тогдашним понятиям, милость не пришлась по вкусу его матери. Она находила, что единственный наследник крупного майората не может подвергаться тягостям и лишениям, нераздельным с военной службой.

Тщетно рвался Николай Афанасьевич к улыбавшейся ему карьере: мать оставалась непреклонна, и это взбалмошное сопротивление оставило горький след во всей его жизни. Но взамен она приложила все старания, чтобы его домашнее образование было на уровне самых высоких требований того времени. Лучшим доказательством может послужить выдающаяся роль на государственном поприще, выпавшая на долю юных товарищей Гончарова, взятых ею в дом с целью доставить постоянное общество одиноко растущему мальчику. Это были дети многосемейных, бедных помещиков-соседей, выросшие под гостеприимным кровом, разделявшие как занятия, так и забавы юного наследника, определенные потом его родителями на службу, ими избранную.

Один, Чернышев, поступил в Конный полк, оказавшийся запертым для Николая Афанасьевича. Здесь Чернышев вскоре сумел выделиться умом, ловкостью, образованием и впоследствии обратил на себя внимание императора Александра, прославившись удачной миссией в Париже. Он дослужился до поста военного министра, награжден был княжеским титулом и умер в преклонных годах, достигнув зенита почестей и богатства.

Другой, Бутенев, поступил в иностранную коллегию, где сумели оценить его способности; шаг за шагом восходил он по дипломатическим ступеням и достиг посланнического поста.

И по мере того, как восходила звезда гончаровских воспитанников, все тускнела злосчастная жизнь их единственного сына. В кратких просветлениях рассудка, Николай Афанасьевич отдавал себе отчет о превратности судьбы, постигшей трех друзей. Самым близким человеком был для него Чернышев, но, выбившись на блестящий путь, его товарищ детства задался целью забыть скромность своего происхождения и изгладил из

памяти все, чем был обязан Гончаровым. Не довольствуясь тем, что давно прервал с ними всякие отношения, он, в течение долгих лет, встречался постоянно с Натальей Николаевной при Дворе и в свете, ни единым словом никогда не осведомился о ее больном отце. Даже более того: она ясно чувствовала в вельможе-фаворите скрытую враждебность, вызываемую тенью унизительного для его тщеславия детства. Эта бессердечность болезненно отзывалась в Николае Афанасьевиче, и он до такой степени страдал, что впоследствии достаточно было произнести в его присутствии имя Александра Чернышева, чтобы тотчас вызвать буйный припадок.

Поведение Чернышева как бы еще более подчеркивалось противоположным отношением Бутенева к другу юности. Он не только переписывался с ним, но сохранил до смерти благодарную память о приютившей его семье и не упускал ни единого случая доказать это на деле. Заброшенный судьбою за границу, он, при всяком возвращении на родину, считал долгом нарочно съездить в Москву (а за отсутствием железной дороги это что-нибудь да значило), чтобы посетить бедного страдальца, всегда радостно встречавшего его. Трогательны были эти свидания, и с невыразимой скорбью вспоминал Бутенев о своем несчастном друге, молодость которого сияла ослепительным блеском, так быстро сменившимся непроглядной тьмой.

Когда окончилось воспитание Николая Афанасьевича, его номинально зачислили в какую-то коллегию, но Надежда Платоновна продолжала держать его в Москве под крылышком, чтобы вернее уберечь от возможных увлечений.

Еще совсем юношей он встретил в аристократических гостиных Наталью Ивановну Загряжскую, прославленную своей редкой красотой, и влюбился в нее с неудержимой страстью первой любви. Брак их, суливший обоим столько счастья, был скоро заключен к радости обеих семей.

За последние годы в газетных статьях появлялись рассказы и исторические справки о роде Загряжских, искажающие истину, и потому мне кажется уместным восстановить здесь семейную хронику во всем правдивом освещении событий.

Загряжские очень гордились как знатностью своего происхождения, так и влиянием при Дворе, не раз выпадавшим им на долю. Дед Натальи Ивановны, Александр Артемьевич Загряжский, был женат на Екатерине Александровне Дорошенко, внучке, по старшему сыну, последнего независимого гетмана Малороссии. При присоединении этого края царь Алексей Михайлович дал на прокормление знаменитому вождю запорожцев обширную волость под Москвою, которая и поныне сохранилась в его потомстве, – село Ярополец, в Волоколамском

уезде. Только в 1717 году эта вотчина раскололась на две части. Наследство Александра Петровича, с могилой гетмана, досталось его единственной дочери и, как приданое, перешло к Загряжским, а неженатый брат его Петр оставил все свое состояние графине Чернышевой, с которой, по семейной молве, он был в связи. Впоследствии этот второй Ярополец был обращен в майорат, перешедший по женской линии графам Чернышевым-Кругликовым, владеющим им и теперь.

Другой Загряжский, дядя Натальи Ивановны, замечательный красавец, утонченный вельможа екатерининских времен, был женат на Наталье Кирилловне Разумовской, дочери гетмана, в начале прошлого века известной всему знатному Петербургу оригинальностью своего ума и непреклонностью воли, породившей даже конфликт с императором Павлом. Породнившись с ней, Пушкин часто навещал ее, черпал в ее воспоминаниях материал для исторических трудов и умел ценить ее самобытную натуру. Но любопытнее всего было рождение и детство самой Натальи Ивановны.

Отец ее, молодой, блестящий гвардеец, служил в Петербурге, и среди распущенного общества не раз выделялся своими необузданными выходками, которые благополучно сходили ему с рук. Думая обуздать эту пылкую натуру, его женили на баронессе Строгановой, – в расчете, что ее крупное состояние поправит его расшатанные дела, а влияние умной, добродетельной жены понемногу остепенит. Но Загряжский увидел в этом браке лишь средство зажить на более широкую ногу, еще неудержимее предаться карточной игре. Через немного лет совместной жизни, под предлогом, что служба не дозволяет ему заниматься делами, а без хозяйского глаза обойтись нельзя, – он отвез жену в принадлежащий ему Ярополец, поселил ее с детьми в только что отстроенном под наблюдением Растрелли прекрасном дворце, а сам вернулся к веселой холостой жизни, лишь после долгих промежутков и на короткий срок появляясь в семье.

Тем временем затянулась война, и полк Загряжского был двинут к прусской границе. Не знаю, по какой причине, но его отряду выпала продолжительная стоянка в Дерпте. Лифляндские бароны радушно чествовали русских офицеров; балы и обеды чередовались в окрестных замках, и на одном из этих пиров, у самого влиятельного, гордого и богатого из феодалов, барона Липгардта, Загряжский впервые увидел его красавицу-дочь, слывшую самой завидной невестой всего края. Влюбиться с места и до безумия было свойством натуры женатого повесы; он отлично понимал, что добиться успеха обычным путем у этой чистой девушки, воспитанной в самой строгой нравственности в

недоступном кругу, – прямо немыслимо, но преград для него не существовало. Он упросил легкомысленных товарищей ни слова не проронить о его женитьбе и принялся ухаживать за молодой баронессой со всем пылом страсти и опытом искусного ловеласа. Когда он убедился в вызванной взаимности, то без малейшего стеснения официально обратился к Липгардту, сватаясь к его дочери.

Отказ последовал в вежливой, но бесповоротной форме. Различие национальности и религии не допускало мысли о подобном союзе, и барон закрыл ему доступ в дом, а дочери запретил даже думать об отверженном претенденте. Но она принадлежала к тем возвышенным, экзальтированным натурам, которые, раз отдавши сердце, не способны его отобрать, а Загряжский тонко изучил трудную науку – тактику любви. Все было пущено в ход, и когда вскоре мир был подписан и полк должен был выступить обратно в Петербург, молодая баронесса не устояла перед тяжестью вечной разлуки и сдалась его мольбам. Она бежала из отцовского дома и подкупленным священником была обвенчана в скромной русской церкви со своим избранником, хорошо зная, что ни один лютеранский пастор не решился бы своим благословением навлечь на себя мстительный гнев всесильного, оскорбленного барона.

Покинув навсегда Дерпт после рокового шага, новобрачная написала отцу, умоляя его о прощении, описывала всю силу их обоюдной любви и терзания, причиненные ей его непреклонным решением. Барон остался верен себе. Он даже не ответил, а через приближенного уведомил, что баронесса Липгардт умерла для него и всей его родни, и потому дальнейшие извещения об опозоренной авантюристке будут вполне излишни.

Молодая женщина поняла, что к прошлому возврата нет после подобного разрыва, и всеми силами души привязалась к легкомысленному супругу, который один должен был заменить все. Может быть, в силу этой возвышенной, всепоглощающей любви, столь противоположной его развращенной натуре, или, проще, вследствие удовлетворения физической страсти, но достоверно только, что из многочисленных романов Загряжского самым скоротечным было увлечение так нагло обманутой девушкой.

Вскоре по прибытии в Петербург он сообразил всю безвыходность своего положения. Ввести в круг своих знакомых вторую жену при жизни первой вызвало бы негодование Строгановых, и при их влиянии и богатстве ему бы несдобровать. Открыть карты и выдать обманутую жертву за привезенную любовницу? Но он также хорошо знал, что ему не укрыться от

мести возмущенной немецкой знати, всегда сплоченной в защиту кастовых интересов, и, несмотря на всю его изворотливость, способной подвести его под строжайшую кару. Необходимо было схоронить концы в воду, и Загряжский задумал смелый план, который никому другому не пришел бы на ум.

В один злополучный день покинутая жена, томившаяся неведением в течение долгих месяцев, была радостно встревожена заливающимся звоном колокольчиков. Целый поезд огибал цветочную лужайку перед домом, и из первой дорожной берлины выпрыгнул ее нежданный муж и стал высаживать сидевшую рядом с ним молодую красавицу. Лучшим доказательством прелести ее лица может служить следующий факт, анекдотически передаваемый в семье.

Когда случился пожар в Зимнем дворце, то вызванным войскам было поручено спасать только самые ценные вещи из горевших апартаментов. Один офицер, проникший в комнаты фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской, был поражен стоявшей в комнате миниатюрой, изображавшей обаятельную головку в напудренной прическе, и инстинктивным движением схватил и унес ее. Оправлена она была в незатейливую черепаховую рамку. Впоследствии, при сдаче вынесенных вещей в дворцовую контору, принимавший чиновник, недоумевая, осведомился, что побудило офицера спасти столь маленький, ничтожный предмет.

– Да вглядитесь хорошенько, – и вы поймете тогда, что я не мог оставить изображение такой редкой красавицы в добычу огню!

Миниатюра была возвращена владелице. После ее смерти она досталась моей матери, которая, указывая на нее, говорила, что люди, знавшие Наталью Ивановну в молодости, твердили ей, что ей не тягаться красотой с матерью, а Наталья Ивановна, в свою очередь, повторяла, что не помнила свою мать, но выросла в предании, что хотя и напоминала ее чертами лица, но и сравниваться с ней не должна.

Винюсь в отступлении и продолжаю прерванный рассказ.

В обширных сенях яропольцевского дома произошла встреча так жестоко оскорбленных женщин. С легким сердцем и насмешливой улыбкой на устах произвел Загряжский еще невиданный coup de theatre[2], представив обманутую жену законной супруге. Это ошеломляющее открытие так расходилось с семейными понятиями нравственных баронов, что молодая женщина не могла прийти в себя, приписывая все случившееся роковому наваждению, но когда неумолимый язык всей обстановки, присутствие двух дочерей-подростков и резвого

мальчугана-сына убедили ее в несомненности разбитой жизни и в полной бессердечности человека, в котором сосредоточивался весь ее мир, она, как подкошенный цветок, упала к ногам своей невольной и почти столь же несчастной соперницы.

Загряжский был не охотник до раздирательных сцен. «Бабье дело, – сами разберутся!» – решил он. Приказав перепрячь лошадей, даже не взглянув на хозяйство, а только допустив приближенную дворню к руке, поцеловав рассеянно детей, он простился с женой, поручив ее христианскому сердцу и доброму уходу все еще бесчувственную чужестранку, – и укатил в обратный путь. Расчет его оказался верен, и, пожалуй, лучшего исхода для несчастной жертвы его сладострастия нельзя было найти.

Поруганное чувство, уязвленное самолюбие ожесточают только мелкие или посредственные натуры. Возвышенные же очищаются подвигом страдания, как металл в горниле, и с простотой, вызывающей подчас недоумение, способны на забвение личного горя в заботливом утешении одиноко страждущих. К таким-то светлым личностям принадлежала первая жена Загряжского. Одного поверхностного взгляда было ей достаточно, чтобы оценить всю чистоту души соперницы, чтобы чутким сердцем измерить глубину горя, сломившего ее молодую жизнь.

Грех ее мужа восстал перед ней во всей своей неприглядности, и она поставила себе задачей загладить его по мере сил. Почти вдвое старше обманутой женщины, так беспощадно заброшенной, она окружила ее материнской лаской, и только благодаря ее постоянному уходу она могла выдержать тяжелую болезнь, вызванную роковым ударом, и через несколько месяцев по приезде, на ее же руках, родить дочь, названную Натальей.

С той поры все соседи, к которым мало-помалу проникла тайна увоза и кощунственного брака юной баронессы, только диву давались трогательному согласию, царившему между покинутыми изгнанницами. Самая нежно любящая мать не могла бы изощриться в этой постоянной ласке, в горьком опыте черпая слова утешения, пытаясь зажечь луч надежды хоть в далеком будущем, когда собственная ее смерть послужила бы к устрашению двусмысленного положения.

Но судьба решила иначе. Пережитое горе разрушило нежный организм; она зачахла, как цветок, пересаженный на чуждую почву, и ясно глядя на приближающуюся освободительницу-смерть, поручила Загряжской свою малютку-дочь. И, просветленная прощением, исстрадавшаяся душа отлетела в

лучший мир.

Не напрасна была ее надежда. Мало того, что Загряжская так привязалась к сиротке, что не делала никакого различия между нею и собственными дочерьми, но приложила все старания, при помощи своей влиятельной родни, чтобы узаконить рождение Натальи Ивановны, оградив все ее наследственные права, а в то время этого было нелегко достигнуть. Да, впрочем, в последнем отношении и хлопотать, по-видимому, не стоило. Когда Загряжский окончил в Петербурге свою бесшабашную жизнь, прожив и строгановское приданое, и личное состояние, – из всех богатств точно чудом уцелел один Ярополец, и то страшно обремененный долгами.

Жена скончалась до него, оставив, кроме сына Григория, трех дочерей: Екатерину, Софью и Наталью, – последнюю значительно моложе других, – в весьма тяжелом материальном положении.

Большую часть времени они проживали в деревне, отказывая себе во всем, чтобы иметь возможность повеселиться в Москве с затаенной надеждой устроить там свою судьбу. Года быстро проходили; некрасивые дочери Строгановой видимо блекли, когда Наталья Ивановна в полном расцвете красоты обратила на себя внимание Николая Афанасьевича Гончарова, одного из самых завидных московских женихов, и брак ее радостным лучом пригрел разоренную семью. Вскоре Екатерина Ивановна была назначена фрейлиной к императрице Марии Федоровне, а Софья Ивановна переселилась к новобрачным, что впоследствии послужило поводом к ее личному счастью.

II

Медовый месяц и первые годы протекли для четы Гончаровых в упоении любви и радостной безоблачной жизни, но мало-помалу зловещие тучки появились на небосклоне.

Афанасий Николаевич, отдаляя сына от дел, тем самым скрывал от него значение его безумных любовных трат, и, несмотря на некоторую задержку в получении определенных сумм или даже отказ в непредвиденных субсидиях, – молодой человек слепо веровал в неприкосновенность миллионного состояния до той неизбежной минуты, когда старик, потеряв голову в виду приближения грозной катастрофы, решил открыть ему всю правду и с присущим ему эгоизмом не задумался свалить тяжелую обузу запутанных дел и подорванного кредита на его неопытные плечи, а сам тотчас же укатил за границу, где и поселился на несколько лет.

Николаю Афанасьевичу эта задача оказалась по плечу. Он без всякого сожаления отказался от праздной московской жизни, переселился с семьей на Полотняные Заводы и с неутомимой энергией, напоминавшей прадеда, принялся наводить порядки. Бесшабашное растаскивание барского добра прекратилось всюду. Под зорким хозяйским оком фабрики опять заработали на славу. Хотя жизненный обиход стоял на прежней широкой ноге, но баснословные затеи и причуды не шли на ум, и основы состояния были до того прочны, что после пятилетнего упорного труда Николаю Афанасьевичу удалось залечить все отцовские прорухи. Он аккуратно высылал ему условленное содержание, тщательно наблюдал за уходом за больной матерью и, глядя на своих подрастающих детей, тешил себя мыслью, что своим трудом предотвратил крушение и упрочил их будущность.

Как раз в это время наполеоновские войны нарушили мир и равновесие Европы. Была ли это причина или только подходящий предлог, но старик Гончаров, несмотря на увещания сына продолжить свое пребывание за границей, собрался в дальний путь и, – нечего таить правду, – нежеланным гостем появился у семейного очага. Взамен признательности к сыну в сердце его запало семя оскорбленного самолюбия. Ему чудилось, что сын кичится перед ним своей деловитостью и умственным превосходством, а многим приближенным, жаждущим снова половить рыбу в мутной воде, было как нельзя более выгодно разжечь затаенное недоброжелательство. Что смутно пугало Николая Афанасьевича, стало скоро совершаться.

От критики незаметно перешли к отмене даваемых им распоряжений. Молодое самолюбие возмущалось, страдало и с жгучим чувством обиды должно было стушеваться перед отцовской властью. Ежедневные недоразумения и дрязги подрывали добрые отношения и привели к тому, что старик окончательно устранил сына от всех дел, самонадеянно приняв снова бразды управления.

Ни зловещий урок, ни года, ни скитания за границей ему впрок не пошли, и в эпоху рождения Натальи Николаевны жизнь на Полотняных Заводах снова пошла по-старому, – своим безрассудством Афанасий Николаевич точно стремился наверстать степенно прожитые годы. Тяжело отзывалось это зрелище на впечатлительной, нервной натуре сына. Немым, беспомощным свидетелем следил он, как его труды разбивались в прах в угоду мимолетному капризу, безотрадная будущность снова нависала над его детьми, а их уже было пятеро: первенец и наследник майората Димитрий, Екатерина, Иван, Александра и новорожденная Наталья. Перед глазами облик страждущей

матери, подверженной частым буйным припадкам, и по временам зловещий призрак наследственности, сказавшийся еще в ее двух братьях, – все складывалось, чтобы беспощадно терзать напряженный ум и наболевшую душу.

Тяжелый достопамятный двенадцатый год с тревогой о семье, приютившейся на Калужской дороге, так близко от поля сражения, с остановкою производства и торговли в то время, когда мотовство вело к погибели, – все вместе взятое переполнило чашу испытаний и медленно подготовляло взрыв рокового, неизлечимого недуга.

Французская кампания двумя событиями отразилась на семейной жизни Загряжских. Последнему отпрыску этого рода, служившему в гвардейском пехотном полку, было суждено не вернуться из похода. Старая наша няня, из дворовых Полотняного Завода, данная в приданое матери, когда она выходила замуж за Пушкина, рассказывала мне, что после одной из кровавых битв (имени ее она не помнила, а может быть, и не знала), в наступивший момент перемирия, Григорий Иванович, сидя на барабане, только что принялся пить стакан чая, как шальная картечь пронеслась в воздухе, угодила в него и разорвала пополам юношу-офицера. Этот рассказ так занял мое детское воображение, что я немедленно обратилась к матери, допытываясь новых подробностей, и мне еще теперь помнится ее ответ:

– Удивительно, что люди хотят всегда все лучше знать самих господ! В семье никто не мог допытаться, как был убит дядя Григорий. Как ни хлопотала сестра его, Екатерина Ивановна, – другого ответа не было, как то, что он попал в список без вести пропавших. После сражения никто его ни живым, ни мертвым не увидел.

До своего преждевременного конца Григорий Иванович был обречен на жизнь, полную лишений, но, точно по злой иронии судьбы, в скором времени его ожидало блестящее наследство. Родной брат его отца, – не смею утверждать, был ли это муж Натальи Кирилловны, или другой, холостой, вполне равнодушный к горестной участи племянника и племянниц, – скончался, сохранив неприкосновенным свое значительное состояние, которое им и досталось по закону. На долю Натальи Ивановны Гончаровой пришелся при разделе уже упомянутый Ярополец, а чудное Тамбовское имение Загряжино, обогатив Софью Ивановну, преобразило бедную, стареющую деву в очень завидную партию.

Впрочем, сопоставлением чисел можно сделать вывод, что судьба его была уже решена до получения дядюшкиного

наследства.

Во время отступления наполеоновских армий нашим отрядом, конвоирующим пленных, был доставлен в гончаровский дом полуживой окоченелый офицер. Его приняли с русским радушием; несчастие заслонило вражду, и весь женский персонал при виде измученного пленника наперерыв изощрялся в средствах вырвать из рук смерти уже намеченную жертву.

Пленный оказался уроженцем Сардинии, впоследствии известным на литературном поприще графом Xavier de Maistre. Ран он никаких не имел, но истощение южной натуры, подвергнутой тяжелым лишениям при невыносимой стуже, было до того велико, что борьба между жизнью и смертью затянулась на месяцы, и следы ее наложили отпечаток до самой могилы. Мало-помалу, отстраняя других, Софья Ивановна завладела правом исключительного ухода за больным, поддаваясь все сильнее обаянию его, на самом деле, выдающейся личности. Обширное образование служило достойной рамкой природному уму и тонкой наблюдательности, и, что гораздо реже случается, сливалось с замечательною добротою и кротостью характера. Он, со своей стороны, оценил ее неустанную заботу и проблески более нежного чувства, тщательно скрываемого, – и когда, по выздоровлении, должен был наступить час вечной разлуки, в голове его созрел план соединить их обоюдную зрелость, несмотря на опасения гнева семьи de Maistre, в особенности старшего брата, знаменитого Жозефа де Местр, ярого католика и поборника иезуитов.

Это, может быть, была одна из причин, побудивших его променять свою знойную родину на наш неприглядный север. Софья Ивановна приняла с восторгом его предложение и, покинув гостеприимный гончаровский кров, переселилась с мужем в Петербург.

По возвращении из Парижа, император Александр I назначил ему аудиенцию, желая выразить участие зятю любимой фрейлины его матери, и, пораженный его бледностью и изможденным видом, он ласково заметил:

– C’est la compagne de Russie qui vous a valu la perte de votre sante… (Из-за войны с Россией вы потеряли здоровье…) – И, движимый состраданием, назначил ему пенсию в две тысячи рублей, которую граф преисправно получал до самой смерти. Болезненный вид оказался прибыльным, – часто острили в семье, так как он умер, достигнув 90 лет, на несколько месяцев пережив жену, в 1851 году в Стрельне, в доме моих родителей, приютивших его одиночество, и похоронен в Петербурге, на Смоленском кладбище.

В то самое время, когда силой обстоятельств устраивалась дальнейшая судьба Софьи Ивановны, счастливая звезда Натальи Ивановны закатывалась навеки. Последним родился у нее сын Сергей, годом моложе моей матери, и почти одновременно гнетущая меланхолия мужа переродилась в более острую форму. Мысли путались, ясность сознания затмевалась, малейшее противоречие вызывало вспышки неудержимого гнева. Все окружающие стали припоминать первые признаки заболевания Надежды Платоновны, и вскоре нельзя было более сомневаться, что наследственность заявляла свое зловещее право.

Наталья Ивановна, в сопровождении домашнего доктора, собралась отвезти больного в Москву, но путешествие не обошлось благополучно. Беспокойство Николая Афанасьевича все росло, и где-то на постоялом дворе оно разразилось приступом бешеного безумия.

Психическим больным свойственна странная черта: люди самые близкие, дорогие, почти мгновенно становятся им в тягость, и чем сильнее была прежняя привязанность, тем ожесточеннее становится враждебность. То же превращение постигло и пламенную любовь к красавице жене.

Следуя тогдашней, весьма распространенной моде, чтобы неизгладимо сохранить память блаженно прожитых дней, Николай Афанасьевич подвергся татуировке, и на правом предплечье воспроизведен был вензель жены с добавкой нежного символа. В неудержимом порыве ненависти он изгрыз все мясо, чтобы стереть след прошлого, и, причинив себе страшную, зияющую рану, в изнеможении впал в какой-то странный, летаргический сон. Так продолжалось более суток. Доктор, наблюдавший за ним, начинал питать надежду, что это послужит признаком выздоровления. Он ссылался на научные примеры, когда больной, предоставленный возрождающей силе природы, пробуждался просветленным, со смутным представлением пережитого кошмара. Но этим розовым мечтам суждено было разбиться о близкую грозную опасность.

Рана за часы отдыха страшно воспалилась, и опытному глазу не трудно было различить признаки надвигавшейся гангрены. Другого лечения тогда не признавали, как прижигание раскаленным железом. Немедленно полетел гонец в Москву за доктором, светилом науки, и, когда он приехал, несчастной Наталье Ивановне предоставлено было решить грозную дилемму: не тревожить благодетельный сон, может быть, дарующий исцеление, но зато грозящий смертью, или, спасая жизнь, добровольно отказаться от хотя бы и туманной надежды. Для любящего сердца колебаний не могло быть. Железо излечило

видимую рану, обрекая несчастного на сорокалетнюю душевную муку.

Болезнь Николая Афанасьевича вызвала переселение всей семьи в Москву, в собственный дом на Никитской, за исключением младшей внучки Наташи, к которой старик Гончаров успел сильно привязаться. Он настоятельно потребовал, чтобы ее оставили на его попечение. Постоянный надзор за больным мужем и заботы о многочисленной семье побудили Наталью Ивановну согласиться на это желание.

Самые далекие и отрадные воспоминания детства Натальи Николаевны возникали и связывались с этим пребыванием в Полотняных Заводах. Дед в ней души не чаял, и, глядя на него, все прихлебатели и приживальщицы, вся многолюдная челядь наперерыв старались угодить ей. Не успевала она выразить желание – как оно уже было исполнено. Самые затейливые, дорогие игрушки выписывались на смену не успевших еще надоесть; глаза разбегались и аппетит пропадал от множества разнообразных лакомств; от нарядов ломились сундуки, и все только вращалось около единой мысли: какую бы придумать новую, лучшую забаву для общей любимицы. Она росла, словно сказочная принцесса в волшебном царстве!

На шестом году пробудилась она от очарованного сна, вступив в суровую школу. Смерть деда вернула ее в родную семью.

Перемена обстановки глубоко врезалась в детскую память, и Наталья Николаевна до старости помнила все подробности московской встречи.

Стояла зима: ее на руках вынесли из возка, укутанную в драгоценную соболью шубу, крытую алым бархатом, и принесли в гостиную. Братья и сестры обступили ее, с любопытством разглядывая лицо, ставшее им чуждым. Мать сдержанно поцеловала и, с неудовольствием оглядывая дорогой наряд, промолвила: «Это преступление – приучать ребенка к неслыханной роскоши!» Потом она сдала оробевшую девочку на руки нянюшек и строго заметила: «первым делом надо Наташу от всего привитого к ней отучить».

И не прошло двух дней, как дорогая шуба, предмет общего восхищения, преобразовалась в «палатинки» и муфты для трех сестер, и младшей, хотя и законной обладательнице меха, досталась худшая из них.

– Даром, что маленькая, а все-таки очень уж обидно было! – завершила мать свой рассказ.

Дедушкино баловство ничуть не отразилось на мягком характере ребенка. Она безропотно подчинилась суровому

режиму, заведенному в доме, и впоследствии выносила его гораздо легче старших сестер.

Жизнь в Москве

Наружно жизнь Гончаровых была обставлена по-прежнему, но, чтобы достичь этой возможности, внутренний обиход подвергался урезкам и лишениям. Об обновках думать не приходилось, а надо было донашивать то, что становилось непригодным старшим; не только выражение какого-нибудь желания, но необдуманная ссылка на прошлое ставилась в вину; не только детский каприз, но проявление шумного веселья строго преследовалось, да и не до него было при той тяжелой обстановке, в которой протекло детство Гончаровых.

Буйным сценам, неистовым крикам, наполнявшим весь дом, даже ночью не дающим покоя, не видно было конца. Наталья Ивановна, для ограждения детей, тщетно пыталась добиться признания мужа сумасшедшим, чтобы иметь возможность поместить его в лечебницу. Достаточно было больному проведать или самому догадаться, что соберется комиссия для этой цели, чтобы, на удивление семьи и домашних, он проявлял такое самообладание, что в течение целых двух часов ни одно неразумное слово не срывалось у него с языка. Мало того, что он толково отвечал на самые замысловатые вопросы, но под конец он со сдержанной грустью и полным достоинством намекал на затаенную вражду жены, которая ради корыстных целей изощрялась в преследованиях. Кончалось тем, что призванные судьи проникались глубоким состраданием к его мнимым бедствиям. При прощании с Натальей Ивановной они решительно отказывали в ее ходатайстве, и за вежливыми фразами ей не трудно было разобрать предубежденное недоумение или даже немой укор. А эти краткие победы над больным организмом всегда оплачивались неизбежным припадком, где буйство проявлялось с удвоенной силой.

Наталья Николаевна до самой смерти не могла вспомнить без трепета дикую сцену, где жизнь ее висела на волоске. Ей тогда было лет двенадцать. Когда у него являлось желание, Николай Афанасьевич выходил из своей половины в назначенный час и обедал за столом с семьей и домочадцами. Тогда поспешно убиралась водка и вино, потому что незначительной доли алкоголя было достаточно, чтобы вызвать возбуждение; если же ему удавалось перехватить рюмку или стакан, то трапеза неминуемо оканчивалась бурным инцидентом. Тем не менее, по

заведенному порядку, никто не имел права выйти из-за стола, пока сама хозяйка, сидящая во главе, не подавала к тому условный знак своей салфеткой. Тогда все стремглав спасались наверх, в мезонин, где тяжелые железные двери, не поддающиеся никакой человеческой силе, оберегали от возможной опасности.

В этот зловещий день мать, смолоду еще немного близорукая, не заметила надвигавшейся бури и очнулась от своей задумчивости только тогда, когда последний из обедавших уже подходил к двери, оставив ее одну с разъяренным отцом. Она ринулась за ними, но всеобщее бегство только ускорило взрыв. С налитыми кровью глазами и с ножом в замахнувшейся руке Николай Афанасьевич в свою очередь бросился нагонять ее. Опасность была очевидна.

Голова кружилась, сердце учащенно билось, ноги подкашивались, а инстинкт самосохранения внушал, что достаточно оступиться, чтобы погибнуть безвозвратно. Лестница казалась нескончаемой; с каждой ступенью отец настигал ее ближе; огненное дыхание обдавало волосы, и холодное лезвие ножа точно уже касалось открытой шеи. Наверху, в щель приотворенной двери, с замиранием духа следили за перипетиями захватывающей сцены.

Но вот и цель! Ее впустили, захлопнули надежный щит. «Спасена!» – блаженным сознанием промелькнуло в мозгу, и эти ощущения годы были бессильны изгладить.

Случаи, вроде вышеприведенного, повторялись изо дня в день. Переживаемые испытания оставляли двойственный и как бы друг другу противоречащий след на характере Натальи Ивановны. Ее религиозность принимала с годами суровый фанатический склад, а нрав словно ожесточался, и строгость относительно детей, а дочерей в особенности, принимала раздражительный, придирчивый оттенок.

Все свободное время проводила она на своей половине, окруженная монахинями и странницами, которые свои душеспасительные рассказы и благочестивые размышления пересыпали сплетнями и наговорами на неповинных детей или не сумевших им угодить слуг и тем вызывали грозную расправу.

Между ними особенно выделялась какая-то монашествующая Татьяна Ивановна, отдыхавшая подолгу в гончаровском доме от своих богомолий и скитаний. Сначала она старалась вкрасться в доверие подрастающих барышень и, переиначивая на свой лад их девичьи мечты или опрометчивые отзывы, она не раз подводила их под гнев матери, а сама, со смиренно сложенными руками, оставалась в стороне. Впоследствии, наученные опытом, они от нее сторонились, но она не унималась, подслушивала их беседы,

улавливала их в хитро сплетенные интриги и наушничала с любовью и искусством с целью завладеть полным доверием Натальи Ивановны, прикидываясь исключительно ей преданным существом.

Дошло до того, что мать, тихая и робкая по природе, с каким-то суеверным страхом стала встречать всякое появление Татьяны Ивановны в доме, видя в нем предвестника бури, и, несмотря на глубокую и искреннюю набожность, на всю жизнь сохранила предубеждение ко всей монашествующей братии. Самыми лучшими, беззаботными часами были те, которые проводились на детской половине, в обществе гувернанток, из которых miss Tomson оставила в ней самое теплое, отрадное воспоминание. С матерью они встречались за столом, в праздничные дни изредка катались торжественным выездом и обязательно должны были ее сопровождать на церковные службы.

Одна из этих прогулок глубоко запечатлелась в памяти Натальи Николаевны.

В чудный ясный день выехали они в четырехместном экипаже цугом, с гайдуками на запятках, как вдруг завидели ехавший навстречу рыдван бабушки Надежды Платоновны. По раз данному распоряжению, кучер заворачивал в первый переулок, во избежание возможных столкновений, но на этот раз маневр не мог удасться и, поравнявшись с невесткою, старуха Гончарова зычным голосом приказала остановиться и принялась ее во всеуслышание отчитывать, заодно с мужем, «непотребным Николашкой», взводя на обоих всевозможные обиды и напраслины, которые ей подсказывал ее больной мозг. Одно из самых тяжких оскорблений было, что по злобе на нее ее негодный сын собрал в коробку тараканов со всей Москвы и скрытно напустил их на ее дом! Толпа прохожих и зевак густым кольцом окружила экипажи, громким смехом отвечая на болезненный бред старухи; барышни растерянно прижимались друг к другу, а чувство уважения к родителям было до такой степени непоколебимо в умах, что Наталья Ивановна, при всей своей строптивости, не дерзала прекратить эту дикую сцену приказом отъехать, и только вмешательство полицейской стражи избавило их от нареканий сумасшедшей.

Сильное негодование вызывали в Наталье Ивановне малейшая небрежность и рассеянность в церкви: пропуск установленного поклона или коленопреклонения не проходили даром. «На что это похоже?! – журила она провинившуюся, – одному святому моргнешь, другому мигнешь, а третий пускай и сам догадается! Разве так молятся православные?» – и, чувствуя себя под ее строгим оком, зачастую юношеская пламенная

молитва застывала под покровом обрядности. Заботы о спасении души она переносила с детей на домашних. Одна только бедная приживалка оказывала ей сопротивление. На все ее попытки духовно просветить ее, она отвечала ей, кланяясь в пояс. «Пощадите меня, матушка Наталья Ивановна! И на что мне все это знать и различать-то все эти грехи? На страшном суде Христовом, как зададут мне вопросы, я буду отвечать: не знала, не ведала, – и с меня Господь-то и не взыщет. А коли вы меня всему научите, так и быть мне в пекле, – потащут туда ангелы его. Смилосердуйтесь, матушка!» – и с этой оригинальной точки зрения ее невозможно было сдвинуть.

В самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых. Если случалось, что какую-либо из них призывали к Наталье Ивановне не в урочное время, то пусть даже и не чувствовала она никакой вины за собой, – сердце замирало в тревожном опасении; и прежде чем переступлен заветный порог, рука творила крестное знамение, и язык шептал псалом, поминавший царя Давида и всю кротость его…

Мать, давшая себе зарок никогда не судить ближнего и свято соблюдавшая его, не любила вспоминать свое детство и молодость, но, судя по ее ангельской кротости с собственными детьми, по беспредельной нежности, постоянно проявляемой, по видимому принуждению, с которым она решалась на упрек или выговор, нам не трудно было заключить, сколько ей самой пришлось выстрадать от сухой придирчивости, взбалмошных капризов и суровых требований.

Не раз доводилось мне слышать ее ответ на замечание отца, что она слишком слаба с нами, не упускает всякого случая нас побаловать: «Не препятствуй! Кто может знать, что их ожидает в жизни? Пусть хоть детство отрадным воспоминанием пригреет их».

Желание сбылось. Оглядываюсь более чем на полвека, и былое восстает в сиянии тихих радостей, в воплощении могучей силы любви, сумевшей сплотить у нового очага всех семерых детей в одну тесную, дружную семью, и в сердце каждого из нас начертать образ идеальной матери, озаренной мученическим ореолом вследствие происков недремлющей клеветы.

Брак с Пушкиным

В семейных преданиях не сохранилось подробностей о ее помолвке и браке с Пушкиным.

Ей только минуло шестнадцать лет, когда они впервые встретились на балу в Москве. В белом воздушном платье с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической, царственной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать от нее глаз, испытав на себе натиск чувства, окрещенного французами coup de foudre[3]. Слава его уже тогда прогремела на всю Россию. Он всюду являлся желанным гостем; толпы ценителей и восторженных поклонниц окружали его, ловя всякое слово, драгоценно сохраняя его в памяти. Наталья Николаевна была скромна до болезненности; при первом знакомстве их его знаменитость, властность, присущая гению, – не то что сконфузили, а как-то придавили ее. Она стыдливо отвечала на восторженные фразы, но эта врожденная скромность, столь редкая спутница торжествующей красоты, только возвысила ее в глазах влюбленного поэта. Вскоре после первого знакомства вспыхнувшая любовь излилась в известном стихотворении, оканчивающемся шутливым признанием:

Я влюблен, я очарован,
Я совсем огончарован!

Наталья Ивановна отнеслась не с большим сочувствием к предложению поэта. Может быть, она находила дочь чересчур молодой, или задолженность Гончаровых, сильно увеличившаяся, выдвигала на очередь материальный вопрос, – но сватовство затянулось на неопределенное время. Пушкин был вынужден покинуть Москву, и наступил момент, когда свадьба едва не расстроилась. Любовь его, однако же, одержала верх над всеми преградами.

Их повенчали в Москве 19 февраля 1831 года, и вслед за тем Наталье Николаевне пришлось расстаться с семьей, переселившись с мужем в Петербург.

III

Гений, божественной искрой перерождая ум и сердце человека, возносит избранника высоко над толпою и тем самым не дозволяет применять к нему усвоенную мерку и властно ставит его как бы выше признанных законов, условий и понятий всеобщей нравственности. Тесно и душно ему в рамках семейной жизни.

В Пушкине часто сказывалась необузданная кровь

африканского деда, и женитьба, несмотря на искреннюю, сильную любовь к жене, не могла совладать с его страстными порывами. Нелегко было юной, неопытной Наталье Николаевне свыкнуться с новой обстановкой, с чуждыми ей людьми. Единственно близким человеком была у нее тетушка Екатерина Ивановна Загряжская. Она всей душой привязалась к Н. Н., но, проникнутая правилом слепого повиновения молодежи старшим, она напускала на себя требовательную строгость для вящего сохранения своего авторитета. Пушкин поспешил ввести жену в семью Карамзиных, и тут, пригретая и обласканная женою историка, она обрела непоколебимые дружеские связи, послужившие ей твердой опорой в годину испытаний и так благодарно оберегаемые ею до самой кончины. У них-то, во время своих пребываний летом в Царском Селе, проводила она вечера в кругу развитых собеседников, заглушая насущные заботы и развлекая свое частое одиночество.

Из переписки, равно как из достоверных данных биографии Александра Сергеевича, выступает красной нитью его постоянная тревога о денежной нехватке и неизбежности долгов.

Считать он не умел. Появление денег связывалось у него с представлением неиссякаемого Пактола, и, быстро пропустив их сквозь пальцы, он с детской наивностью недоумевал перед совершившимся исчезновением.

Карты неудержимо влекли его. Сдаваясь доводам рассудка, он зачастую давал себе зарок больше не играть, подкрепляя это торжественным обещанием жене, но при первом подвернувшемся случае благие намерения разлетались в прах, и до самой зари он не мог оторваться от зеленого поля. В эпоху, предшествовавшую женитьбе, когда потери достигали слишком значительной суммы, он брал авансом у издателя необходимое для уплаты и, распростившись с кутящей компанией, удалялся в Михайловское, где принимался за работу с удвоенной энергией, обогащая Россию новыми драгоценными творениями. Впоследствии способ этот стал непригоден. Расставаться с обожаемой женой сил не хватало; увозить ее с собой то беременной, то с малыми детьми, было затруднительно, или прямо невозможно, и материальная стесненность стала почти постоянной спутницей семейного обихода. Часто вспоминала Наталья Николаевна крайности, испытанные ею с первых шагов супружеской жизни. Бывали дни, после редкого выигрыша или крупной литературной получки, когда мгновенно являлось в доме изобилие во всем, деньги тратились без удержа и расчета, – точно всякий стремился наверстать скорее испытанное лишение. Муж старался не только исполнить, но предугадать ее желания. Минуты эти были

скоротечны и быстро сменялись полным безденежьем, когда не только речи быть не могло о какой-нибудь прихоти, но требовалось все напряжение ума, чтобы извернуться и достать самое необходимое для ежедневного существования.

Некоторые из друзей Пушкина, посвященные в его денежные затруднения, ставили в упрек Наталье Николаевне ее увлечение светской жизнью и изысканность нарядов. Первое она не отрицала, что вполне понятно и даже извинительно было после ее затворнической юности, нахлынувшего успеха и родственной связи с аристократическими домами Натальи Кирилловны Загряжской и Строгановых, где, по тогдашним понятиям, ей прямо обязательно было появляться, но всегда упорно отвергала она обвинение в личных тратах. Все ее выездные туалеты, все, что у нее было роскошного и ценного, оказывалось подарками Екатерины Ивановны. Она гордилась красотою племянницы; ее придворное положение способствовало той благосклонности, которой удостоивала Наталью Николаевну царская чета, а старушку тешило, при ее значительных средствах, что ее племянница могла поспорить изяществом с первыми щеголихами. Она не смущалась мыслью, а вероятно, и не подозревала даже, что этим самым она подвергает молодую женщину незаслуженным нареканиям и косвенно содействует складывающейся легенде о ее бессердечном кокетстве.

Несмотря на свое личное пренебрежение к деньгам, когда становилось чересчур жутко и все ресурсы иссякали, Александр Сергеевич вспоминал об обещанном и не выплаченном приданом жены. Происходил обмен писем между ним и Натальей Ивановной, обыкновенно не достигавший результата и порождавший только некоторое обострение их отношений.

Кончилось тем, что теща, в доказательство своей доброй воли исполнить обещание, прислала Пушкину объемистую шкатулку, наполненную бриллиантами и драгоценными парюрами, на весьма значительную сумму. Несколько дней пришлось Наталье Николаевне полюбоваться уцелевшими остатками Гончаровских миллионов. Муж объявил ей, что они должны быть проданы для уплаты долгов, и разрешил ей сохранить на память только одну из присланных вещей. Выбор ее остановился на жемчужном ожерелье, в котором она стояла под венцом. Оно было ей особенно дорого и, несмотря на лишения и постоянные затруднения в тяжелые годы вдовства, она сохраняла его, и только крайность заставила его продать гр. Воронцовой-Дашковой, в ту пору выдававшей дочь замуж. Не раз вспоминала она о нем со вздохом, прибавляя:

– Промаяться бы мне тогда еще шесть месяцев! Потом я

вышла замуж, острая нужда отстала навек, и не пришлось бы мне с ним расстаться.

Трудности собственной жизни не могли заглушить в сердце Натальи Николаевны сострадания к горькой доле близких. Она часто думала о старших сестрах, мысленно переносясь в знакомую обстановку, а письма, получаемые от них, еще усугубляли мрачность картины. Подозрительность и суровость Натальи Ивановны все росли с годами. Ей становилось в тяжесть жить под одним кровом с сумасшедшим мужем, ненавидящим ее всем пылом былой любви; теперь уже являлась возможность сложить эту обузу на плечи возмужалых сыновей, а самой отдохнуть от постоянных невзгод в родном Яропольце. Помехой этому плану оказывались только дочери.

Всякий был бы вправе осуждать ее за то, что она хоронит их лучшие годы в деревенской глуши, и этих соображений было достаточно, чтобы вымещать на неповинных девушках накипавшую горечь. Якорем спасения являлась всем Наталья Николаевна.

Не знаю, зародилась ли эта мысль в ее чутком сердце, уступила ли она их пламенному желанию, – но результат оказался в согласии Пушкина выручить свояченицы из тяжелого положения, приняв их обеих под свой гостеприимный кров. Вероятно, этому решению много способствовало побуждение прекратить одиночество, выпавшее на долю жены и в первое время тоскливо переносимое ею.

Когда вдохновение сходило на поэта, он запирался в свою комнату, и ни под каким предлогом жена не дерзала переступить порог, тщетно ожидая его в часы завтрака и обеда, чтобы как-нибудь не нарушить прилив творчества. После усидчивой работы, он выходил усталый, проголодавшийся, но окрыленный духом и дома ему не сиделось. Кипучий ум жаждал обмена впечатлениями, живость характера стремилась поскорей отдать на суд друзей-ценителей выстраданные образы, звучными строфами скользнувшие с его пера.

С робкой мольбой просила его Наталья Николаевна остаться с ней, дать ей первой выслушать новое творение. Преклоняясь перед авторитетом Карамзина, Жуковского или Вяземского, она не пыталась удерживать Пушкина, когда знала, что он рвется к ним за советом, но сердце невольно щемило, женское самолюбие вспыхивало, когда, хватая шляпу, он со своим беззаботным, звонким смехом объявлял по вечерам: «А теперь пора к Александре Осиповне на суд! Что-то она скажет? Угожу ли я ей своим сегодняшним трудом?»

– Отчего ты не хочешь мне прочесть? Разве я понять не могу?

Разве тебе не дорого мое мнение? – и ее нежный, вдумчивый взгляд с замиранием ждал ответа.

Но, выслушивая эту просьбу, как взбалмошный каприз милого ребенка, он с улыбкою отвечал:

– Нет, Наташа! Ты не обижайся, но это дело не твоего ума, да и вообще не женского смысла.

– А разве Смирнова не женщина, да вдобавок и красивая? – с живостью протестовала она.

– Для других – не спорю. Для меня – друг, товарищ, опытный оценщик, которому женский инстинкт пригоден, чтобы отыскать ошибку, ускользнувшую от моего внимания, или указать что-нибудь, ведущее к новому горизонту. А ты, Наташа, не тужи и не думай ревновать! Ты мне куда милей со своей неопытностью и незнанием. Избави Бог от ученых женщин, а коли они еще за сочинительство ухватятся, – тогда уж прямо нет спасения! Вот тебе мой зарок: если когда-нибудь нашей Маше придет фантазия хоть один стих написать, первым делом выпори ее хорошенько, чтобы от этой дури и следа не осталось!

И, нежно погладив ее понуренную головку, он с рукописью отправлялся к Смирновой, оставляя ее одну до поздней ночи со своими невеселыми, ревнивыми думами.

Хотя в эту отдаленную эпоху вопроса феминизма не было даже и в зародыше, Пушкин оказывался злейшим врагом всяких посягательств женщин на деятельность вне признанной за ними сферы. Он не упускал случая зло подтрунить над всеми встречавшимися ему blue stockings (синие чулки), и, ярый поклонник красоты, он находил, что их потуги на ученость и философию только вредят женскому обаянию.

Мать так усвоила себе эти воззрения, что впоследствии они отразились и на мне. Помню, что 12 лет я написала заданное сочинение, которое так поразило моего учителя, что он счел долгом обратить на него ее внимание. Она в свою очередь показала его кн. Вяземскому, который, свято оберегая старинную дружбу, был частым посетителем в доме. И он также не задумался признать в моем детском труде несомненность дарования.

Это была только проза, я не была дочерью Пушкина, и энергический рецепт его ко мне был неприменим, но мать тогда же мне рассказала это шутливое нравоучение и его взгляд на женское авторство, и ничего не сделала, чтобы развить появившееся во мне стремление.

А может быть, заглохшая искорка на что-нибудь и оказалась бы пригодной!

Возвращаясь к отношениям Натальи Николаевны к Смирновой, я добавлю, что хотя они и продолжали часто видеться

и были на короткой, дружеской ноге, пока Смирнова жила в Петербурге, но искренней симпатии между ними не было. Наталья Николаевна страдала от лишения того нравственного авторитета, которым Александра Осиповна завладела ей в ущерб, часто не щадя ее самолюбия, а последняя, страстной натурой увлекаясь Пушкиным не только как поэтом, не находила в нем желанного отклика. Она, избалованная легкими победами, объясняла это только его пылкой страстью к жене, и это сознание накопляло в ее сердце затаенную зависть к счастливой сопернице. Этим только чувством объясняется тлеющее недоброжелательство, таким коварным светом озарившее личность жены Пушкина в мемуарах А. О. Смирновой.

Наталья Николаевна вспоминала бывало, как в первые годы ее замужества ей иногда казалось, что она отвыкнет от звука собственного голоса, – так одиноко и однообразно протекали ее дни! Она читала до одури, вышивала часами с артистическим изяществом, но кроме доброй, беззаветно преданной Прасковьи, впоследствии вынянчившей всех ее семерых детей, ей не с кем было перекинуться словом. Беспричинная ревность уже в ту пору свила себе гнездо в сердце мужа и выразилась в строгом запрете принимать кого-либо из мужчин в его отсутствие или когда он удалялся в свой кабинет. Для самых степенных друзей не допускалось исключения, и жене, воспитанной в беспрекословном подчинении, и в ум не могло прийти нарушить заведенный порядок.

Появление сестер внесло в дом струю радостного оживления, но в конце концов дорого пришлось ей за него расплатиться, и французская пословица: Un bienfait n'est jamais pardonné (Благодеяние никогда не прощается) нашла в этом случае самое справедливое применение. Недаром говаривала она всю жизнь окружавшей ее молодежи:

– Верьте опыту: самая крупная ошибка, которая может быть, это – когда допустить между мужем и женою чуждых молодых людей, хотя бы и самых близких. Это верный источник постоянных недоразумений, влекущих за собой горе и несчастье!

Роль старшей сестры, Екатерины Николаевны, трагически связанная со смертью Пушкина, стала историческим достоянием. Вторая же, Александра Николаевна, проживая под кровом сестры большую часть своей жизни, положительно мучила ее своим тяжелым, строптивым характером и внесла немало огорчения и разлада в семейный обиход.

Все, что напоминало кровавую развязку семейной драмы, было так тяжело матери, что никогда не произносилось в семье не только имя Геккерен, но даже и покойной сестры. Из нас ее

портрета никто даже не видел. Я слышала только, что, далеко не красавица, Екатерина Николаевна представляла собою довольно оригинальный тип, – скорее южанки с черными волосами.

Александра Николаевна высоким ростом и безукоризненным сложением более подходила к матери, но черты лица, хотя и напоминавшие правильность гончаровского склада, являлись как бы его карикатурою. Матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну, чуть приметная неправильность глаз, придающая особую прелесть вдумчивому взору младшей сестры, перерождалась у нее в несомненно косой взгляд, одним словом, люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне.

Мать до самой смерти питала к сестре самую нежную и, можно сказать, самую самоотверженную привязанность. Она инстинктивно подчинялась ее властному влиянию и часто стушевывалась перед ней, окружая ее непрестанной заботой и всячески ублажая ее. Никогда не только слово упрека, но даже и критики не сорвалось у нее с языка, а одному Богу известно, сколько она выстрадала за нее, с каким христианским смирением она могла ее простить!

Названная в честь этой тети, сохраняя в памяти образец этой редкой любви, я не дерзнула бы коснуться болезненно жгучего вопроса, если бы за последние годы толки о нем уже не проникли в печать.

Александра Николаевна принадлежала к многочисленной плеяде восторженных поклонниц поэта; совместная жизнь, увядшая молодость, не пригретая любовью, незаметно для нее самой могли переродить родственное сближение в более пылкое чувство. Вызвало ли оно в Пушкине кратковременную вспышку? Где оказался предел обоюдного увлечения? Эта неразгаданная тайна давно лежит под могильными плитами.

Знаю только одно, что, настойчиво расспрашивая нашу старую няню о былых событиях, я подметила в ней, при всей ее редкой доброте, какое-то странное чувство к тете. Что-то не договаривалось, чуялось не то осуждение, не то негодование. Когда я была еще ребенком и причуды и капризы тети расстраивали мать, или, поддавшись беспричинному, неприязненному чувству к моему отцу, она старалась восстановить против него детей Пушкиных, – у преданной старушки невольно вырвалось:

– Бога не боится Александра Николаевна! Накажет Он ее за черную неблагодарность к сестре! Мало ей прежних козней! В новой-то жизни – и то покоя не дает. Будь другая, небось не

посмела бы. Так осадила бы ее, что глаз перед ней не подняла бы! А наша-то ангельская душа все стерпит, только огорчения от нее принимает… Мало что простила, во всю жизнь не намекнула!

Уже впоследствии, когда я была замужем и стала матерью семейства, незадолго до ее смерти, я добилась объяснения сохранившихся в памяти оговоров.

Раз как-то Александра Николаевна заметила пропажу шейного креста, которым она очень дорожила. Всю прислугу поставили на ноги, чтобы его отыскать. Тщетно перешарив комнаты, уже отложили надежду, когда камердинер, постилая на ночь кровать Александра Сергеевича – это совпало с родами его жены, – нечаянно вытряхнул искомый предмет. Этот случай должен был неминуемо породить много толков, и, хотя других данных обвинения няня не могла привести, она с убеждением повторяла мне:

– Как вы там ни объясняйте, это ваша воля, а по-моему, грешна была тетенька перед вашей маменькой!

Эта всем нам дорогая, чудная женщина была олицетворением исчезнувшего с отменой крепостного права типа преданных слуг, слившихся в единую кровь и плоть со своими господами; прямодушие и правдивость ее вне всякого сомнения, но суждение ее все-таки могло бы сойти за плод людских сплетен, если бы другой, мало известный факт, не придал особого веса ее рассказу.

Сама Наталья Николаевна, беседуя однажды со старшей дочерью о последних минутах ее отца, упомянула, что, благословив детей и прощаясь с близкими, он ответил не объясненным отказом на просьбу Александры Николаевны допустить и ее к смертному одру, и никакой последний привет не смягчил ей это суровое решение. Она сама воздержалась от всяких комментариев, но мысль невольно стремится к красноречивому выводу.

Наконец, когда много лет спустя, а именно в 1852 году, Александра Николаевна была помолвлена с австрийцем, бароном Фризенгофом, за несколько времени до свадьбы она сильно волновалась, перешептываясь с сестрою о важном и неизбежном разговоре, который мог иметь решающее значение в ее судьбе. И на самом деле, – после продолжительной беседы с глазу на глаз с женихом, она вышла успокоенная, но с заплаканным лицом, и, с наблюдательностью подростков, дети стали замечать, что с этого дня восторженные похвалы Пушкину сменились у барона резкими критическими отзывами.

Вот все скудные сведения, сохранившиеся в семье об этом мимолетном увлечении. Если я решилась приподнять завесу минувшего, то исключительно ввиду важности для

характеристики матери ее постоянно проявлявшегося незлобия, – той сверхчеловеческой доброты и любви, которая проповедуется Евангелием и так мало применяется в жизни, – любви, способной все понять и все простить!

Года пролетали.

Время ли отозвалось пресыщением порывов сильной страсти, или частые беременности, не отзывавшиеся, впрочем, на расцвете пышной красоты, вызвали некоторое, может статься, самим несознаваемое, охлаждение в чувствах Александра Сергеевича, – но чутким сердцем жена следила, как с каждым днем ее значение стушевывалось в его кипучей жизни. Его тянуло в водоворот сильных ощущений. Не у тихой пристани разгорается божественная искра в пламенное творчество! Пересмотрите жизнь великих людей, и много ли найдется между ними таких, кто, добывая славу и бессмертие, не поплатился бы за них личным счастьем, а еще меньше окажется способных даровать его своим близким!

Пушкин только с зарею возвращался домой, проводя ночи то за картами, то в веселых кутежах в обществе женщин известной категории. Сам ревнивый до безумия, он до такой степени свыкся с софистическими теориями, измышленными мужчинами в оправдание их неверности, что даже мысленно не останавливался на сердечной тоске, испытываемой тщетно ожидавшей его женою, и часто, смеясь, посвящал ее в свои любовные похождения. А она, тихая и кроткая, молча сносила все. Слова негодования, защита попранного права застывали на устах, и только поруганное святое чувство горькою накипью отлагалось в измученной душе.

В долгие зимние ночи, проводимые мужем в беззаботном веселье, она в опустелой спальне томилась ожиданием, нервно прислушиваясь к отдаленному шороху; часы монотонным звуком точно отсчитывали меру ревнивых страданий, напряженное воображение набрасывало тяжелые или оскорбительные картины, а жгучие слезы обиды незаметно капали на смятую подушку. Иногда глухие, сдержанные рыдания сквозь запертую дверь проникали в смежную детскую.

Под утро звонок. Живые шаги Пушкина раздаются в коридоре. Спешное раздевание сопровождается иногда взрывом его задорного смеха. Жизнерадостный, появляется он на пороге ее комнаты. Мигающий свет лампады у семейных образов не дает различить опухших век, а словно застывшие мраморные черты успешно скрывают душевную муку.

– Что ты не спишь, Наташа? – равнодушно спрашивает он.

– А ты где так засиделся? Опять у своей противной Frau Amalia, устроительницы ваших пирушек? – и голос выдал

брезгливую ноту.

– Как раз угадала, молодец!

– Так ступай сейчас мыться и переменять белье. Иначе не пущу.

Он, отпустив остроту или шутку, повиновался, а она… Женщины одни способны понять, что она испытывала, сколько трагизма скрывалось в этом самообладании!

IV

Года два уже просуществовали сложные отношения, прокравшиеся в супружеский быт Пушкиных, как на великосветском небосклоне появилась личность, обратившая вскоре на себя общее внимание, – преимущественно из-за значения, которое этот человек приобрел в женском обществе, и многочисленных успехов, сопровождавших его с первых шагов.

Это был новоприезжий француз Дантес (Georges Dantes), уже успевший надеть мундир кавалергардского офицера.

Столько появлялось в печати различных, нередко фантастических рассказов о его происхождении и вступлении на русскую службу, что я считаю не лишним передать здесь то, что он сам рассказал много лет спустя одному из племянников своей покойной жены.

Окончив свое образование в одной из парижских военных школ, рослый, замечательно красивый, но легкомысленный и задорный, он через меру увлекся соблазнами всемирной столицы и принялся прожигать жизнь далеко не соразмерно со своими весьма скромными средствами. Этим поведением он навлек на себя гнев родителей; подчиниться им он не захотел, произошла размолвка – и юному кутиле предоставлено было личной инициативой проложить себе путь в жизни.

В эту эпоху, хорошо еще памятную многим эмигрантам, Россия являлась далекою обетованною землей, где многие соотечественники Дантеса, добившись почестей и богатства, предпочли остаться навсегда. Мираж счастья запал в пылкое воображение Дантеса, и, недолго думая, он собрал последние крохи и пустился в дальний путь.

Проезжая по Германии, он простудился; сначала он не придал этому значения, рассчитывая на свою крепкую, выносливую натуру, но недуг быстро развился, и острое воспаление приковало его к постели в каком-то маленьком захудалом городе.

Медленно потянулись дни с грозным призраком смерти у изголовья заброшенного на чужбине путешественника, который уже с тревогой следил за быстрым таянием скудных средств. Помощи ждать было неоткуда, и вера в счастливую звезду покидала Дантеса. Вдруг в скромную гостиницу нахлынуло необычайное оживление. Грохот экипажей сменился шумом голосов; засуетился сам хозяин, забегали служанки…

Это оказался поезд нидерландского посланника, барона

Геккерена (d'Heckeren), ехавшего на свой пост при Русском Дворе. Поломка дорожной берлины вынуждала его на продолжительную остановку. Во время ужина, стараясь как-нибудь развлечь или утешить своего угрюмого, недовольного постояльца сопоставлением несчастий, словоохотливый хозяин стал ему описывать тяжелую болезнь молодого одинокого француза, уже давно застрявшего под его кровом. Скуки ради, барон полюбопытствовал взглянуть на него, и тут у постели больного произошла их первая встреча.

Дантес утверждал, что сострадание так громко заговорило в сердце старика при виде его беспомощности, при виде его изнуренного страданием лица, что с этой минуты он уже не отходил более от него, проявляя заботливый уход самой нежной матери.

Экипаж был починен, а посланник и не думал об отъезде. Он терпеливо дождался, когда восстановление сил дозволило продолжать путь, и, осведомленный о конечной цели, предложил молодому человеку присоединиться к его свите и под его покровительством въехать в Петербург. Можно себе представить, с какой радостью это было принято!

Первым делом Дантеса по приезде было сблизиться с французской колонией; между прочим, он быстро сошелся с знаменитым художником, как раз занятым тогда писанием большого портрета императрицы Александры Феодоровны. Ему была предоставлена специально устроенная мастерская в Зимнем дворце. Дантес просиживал там долгие часы, восхищаясь его работой и развлекая его веселой болтовнею. Художник задался мыслью помочь карьере молодого соотечественника и не упустил для этого первого благоприятного случая.

Во время одной из этих бесед вбежал лакей, предупреждая о прибытии императора, и едва только Дантес успел скрыться за опущенную портьеру, как Николай Павлович уже подходил к мольберту художника.

Государь был в духе, остался доволен сходством и не скупился на похвалы. Тогда художник отважился рассказать ему, что у него есть юный, новоприбывший друг, который, не имев еще счастья увидеть императрицу, прямо влюбился в ее изображение и проводит целые дни, следя за его работою, будучи не в силах оторвать глаз от полотна. Государь рассмеялся, осведомился о его имени и выразил желание его увидеть. Ловкий француз тотчас вывел Дантеса из тайника, и представление состоялось без всяких формальностей.

Красивая, молодцеватая наружность, находчивость ответов, бойкость ума, сверкавшая под покровом почтительных речей,

произвели настолько благоприятное впечатление, что Государь, окончив беседу, обратился к нему со словами:

– Puisque vous êtes un si fervent admirateur de l' Impératrice sans la connaître, je pense que vous serez heureux de pouvoir servir sous ses ordres. (Если вы, не зная ее, такой ревностный поклонник императрицы, – я полагаю, что вы были бы счастливы служить под ее начальством.)

Дантес просиял, не ожидая такого успеха, и зачисление его в Кавалергардский полк, шефом которого состояла императрица, не заставило себя ждать.

Он продолжал жить в доме нидерландского посланника, привязанность которого к нему росла с каждым днем. Пожилой, неженатый, обладавший крупным состоянием, он стремился упрочить будущность Дантеса и усердно хлопотал у своего правительства о дозволении усыновить его с передачей ему имени и наследства. Цель эта была достигнута, когда тот уже состоял на русской службе, и породила даже солдатский анекдот, долго потешавший офицеров.

Нижние чины, переиначивая иностранные слова, никак не могли в толк взять, почему нового корнета из «дантистов» произвели в «лекаря»?!

Царский protege оказался плохим служакой, но зато блестящим офицером, для которого настежь открывались двери самых чопорных гостиных. Где и как произошло его знакомство с Натальей Николаевной, – я не знаю, но с первой встречи она произвела на него впечатление, не изгладившееся во всю его жизнь.

«Elle était si autre que le reste des femmes!» – объяснял он уже в старости своим друзьям, и, перебирая вереницу далеких воспоминаний, он с горькой усмешкой сознавался: «J 'ai eu toutes les femmes que j' ai voulues, sauf celle que le monde entier m'a prêtée et qui, suprême dérision, a été mon unique amour». (Она была так непохожа на остальных женщин! Я имел всех женщин, которых только хотел, исключая той, которую весь мир заподозрил и которая, по горькой насмешке судьбы, была моей единственной любовью.)

И должно быть, в самом деле в ее красоте сказывалась та чистейшая прелесть, то неземное совершенство, которое одинаково покорило и восторженную душу поэта, и разнузданное воображение светского кутилы!

Наталья Николаевна первое время не обращала никакого внимания на явное ухаживание новоиспеченного барона, привыкшего к легким победам, и это равнодушие, казавшееся ему напускным, только подзадоривало его, разжигая вспыхнувшее

чувство.

Тогда он принялся за систематическую атаку.

Хотя постоянное присутствие сестер и положило конец полной замкнутости жизни, но никто из молодежи не допускался в дом Пушкиных на интимную ногу. Чтобы иметь только случай встретить или хотя издали взглянуть на Наталью Николаевну, Геккерен пускался на всякие ухищрения.

Александра Николаевна рассказывала мне, что его осведомленность относительно их прогулок или выездов была прямо баснословна и служила темой постоянных шуток и догадок сестер. Раз даже дошло до пари. Как-то утром пришла внезапно мысль поехать в театр. Достав ложу, Александра Николаевна заметила:

– Ну, на этот раз Геккерен не будет! Сам не догадается, и никто подсказать не может.

– А тем не менее мы его увидим! – возразила Екатерина Николаевна. – Всякий раз так бывает, давай пари держать!

И на самом деле, не успели они занять свои места, как блестящий офицер, звеня шпорами, входил в партер.

Этим неустанным преследованием он добился того, что Наталья Николаевна стала обращать на него внимание, а Екатерина Николаевна, хотя она и должна была понять, что ухаживание относится к сестре, влюбилась в него, но пыталась скрыть это чувство до поры до времени.

Слишком много женщин следило ревнивым оком за поведением модного иностранца, чтобы задуманный им и ничуть не скрываемый роман не стал тотчас достоянием великосветских сплетен и пересудов. А у Пушкина накопилось столько явных и скрытых врагов, озлобленных меткостью его оценок или ядовитостью эпиграмм, что им на руку было, раздувая инцидент, поселить раздор в семье и безнаказанно мстить ему из-за угла.

Присылка пресловутого диплома послужила первой отравленной стрелой, заставившей Пушкина заняться чересчур ярым поклонником жены. Он хорошо знал и ценил чистоту ее натуры, прямодушный нрав, чтобы остановиться на мысли о возможном падении, но, по примеру Цезаря, считал уже оскорблением, что другой похотливо дерзнул взглянуть на нее. Он стал попрекать ее легкомыслием, кокетством, потребовал, чтобы она отнюдь не смела принимать Геккерена у себя, а в свете тщательно избегала всяких разговоров и холодным отпором положила бы конец его оскорбительным надеждам.

Наталья Николаевна с обычной покорностью преклонилась перед его желанием, но Геккерен принадлежал к категории людей, которых нелегко обескуражить. И тут в разыгрываемой

драме выступает лицо, двусмысленная роль которого прямо необъяснима!

Это – сам нидерландский посланник.

Его раболепное увлечение названым сыном порождает в обществе весьма некрасивое толкование, но оно ничуть ему не препятствует прилагать все старания, чтобы достигнуть сближения между молодым офицером и Пушкиной, всячески заманивая ее на скользкий путь. Едва ей удастся избегнуть встречи или беседы с Геккереном, как всюду, преследуя ее, он, как тень, вырастает опять перед ней, искусно находя случай нашептывать ей о безумной любви сына, способного, в порыве отчаяния, наложить на себя руки, описывая картину его мук и негодуя на ее холодность и бессердечие.

Раз, на балу в Дворянском собрании, полагая, что почва уже достаточно подготовлена, он настойчиво принялся излагать ей целый план бегства за границу, обдуманный до мельчайших подробностей, под его дипломатической эгидой, рисуя самую заманчивую будущность, а чтобы предупредить отпор возмущенной совести, он припомнил ей частые, многим известные измены ее мужа, предоставляющие ей свободу возмездия.

Наталья Николаевна дала ему высказаться и, подняв на него свой лучистый взор, ответила:

– Admettons que mon mari ait envers moi les torts que vous lui imputez; admettons même que dans I’ afolement d’ une passion qui n’ existe pas de mon côté du moins, ils soient de nature à me faire oublier mes devoirs envers lui, vous perdez de vue un point capitale – je suis mère. Si je venais a abandonner mes quatre petits enfants, les sacrifant à un amour coupable, je serais àmes propres yeux la plus vile des créatures!.. Tout est dit entre nous, et j’ exige que vous me laissiez en paix. (Допустим, что мой муж виноват передо мною. Допустим даже, что мое увлечение вашим сыном так сильно, что, отуманенная им, я могла бы изменить священному долгу, но вы упустили из виду одно: я мать! У меня четверо маленьких детей. Покинув их в угоду преступной страсти, я стала бы в собственных глазах самая презренная из женщин. Между нами все сказано, и я требую, чтобы вы меня оставили в покое.)

Вернувшись с бала, она, еще кипевшая негодованием, передала Александре Николаевне это позорное предложение.

Есть повод думать, что ее объяснение не удовлетворило барона и что он продолжал роковым образом руководить событиями. Вероятно, до сведения Натальи Николаевны дошло и письмо его к одной даме, препровожденное в аудиториат во время следствия о дуэли Пушкина, где, пытаясь обелить сына, он

набрасывает гнусную тень на ее поведение с прозрачными намеками на существовавшую между ними связь. А между тем именно он, лучше других посвященный в сердечные тайны приемыша, должен был явиться убежденным свидетелем ее невиновности! Подобного вероломства ее прямая натура простить не могла, и во всем мире это был единственный человек, к которому она питала презрение и вражду.

Лет пятнадцать после кровавой развязки Александра Николаевна, – тогда уже баронесса Фризенгоф, – поселившись в Вене, встретилась с ним, когда он кончал там свою дипломатическую карьеру, и приняла его приглашение на большой обед. В ближайшем письме она рассказала об этом сестре и получила немедленно в ответ наболевший вопль оскорбленной души. Наталья Николаевна высказывала ей, до какой степени она глубоко возмущена тем, что сестра, связанная с ней столь тесной, долголетней дружбой, могла нанести ей кровную обиду, приняв хлеб-соль человека, сознательно бывшего виновником ее несчастья, того человека, которого она всегда считала своим злейшим врагом. Если А. Н. не захочет порвать с ним всяких сношений, – что дало бы ей удовлетворение, – то она по крайней мере требует, чтобы никогда между ними не упоминалось больше имя этого развратного старика.

– Сознаюсь, я поступила опрометчиво, – заключила тетя свой рассказ, – но, читая это письмо, я просто глазам не верила. Эти горькие упреки, этот резкий тон так противоречил обычному стилю нашей доброй, всепрощающей Nathalie! Столько лет прошло с тех пор. Я и не подумала, что могу этим пустяком разбередить старую рану.

V

Геккерен, взбешенный холодностью Натальи Николаевны, заметной для всех в свете, и неудачей, постигшей все попытки отца, отважился посетить ее на дому, но случай натолкнул его в сенях на возвращающегося Пушкина.

Одного вида соперника было достаточно, чтобы забушевала в нем африканская кровь, и, взбешенный предположением, что так нахально нарушается его запрет, – он немедленно обратился к молодому человеку с вопросом, что побуждает его продолжать посещения, когда ему хорошо должно быть известно, до какой степени они ему неприятны?

Самообладание не изменило Геккерену. Зрел ли давно задуманный план в его уме, или, вызванная желанием

предотвратить возможное столкновение, эта мысль мгновенно озарила его, – кто может это решить? Хладнокровно, с чуть заметной усмешкой, выдержал он натиск первого гнева и в свою очередь вежливо спросил, отчего Пушкин так волнуется его ухаживанием, которое не может компрометировать его жену, так как отнюдь к ней не относится?

– C' est votre belle-soeur, M-lle Catherine, que j'aime, et ce sentiment aussi sincère que profond me rend tout disposé à la demander en mariage. (Я люблю свояченицу вашу, Екатерину Николаевну, и это чувство настолько искренно и серьезно, что я готов сейчас просить ее руки.)

Это признание озадачило Александра Сергеевича.

Несмотря на неожиданность, он мгновенно взвесил цену доказательства. Молодому, блестящему красавцу-иностранцу, который мог бы выбирать из самых лучших и выгодных партий, из любви к одной сестре связать себя навеки со старшей, отцветающей бесприданницей, – это было бы необъяснимым безумием, и разом просветленный, он уже добродушно объяснил ему, что участь Екатерины Николаевны не от него зависит и что для дальнейших объяснений ему следует обратиться к тетушке, Екатерине Ивановне Загряжской, как старшей представительнице семьи.

Наталью Николаевну это неожиданное сватовство поразило еще сильнее мужа. Она слишком хорошо видела в этом поступке всю необузданность страсти, чтобы не ужаснуться горькой участи, ожидавшей ее сестру.

Екатерина Николаевна сознавала, что ей суждено любить безнадежно, и потому, как в волшебном чаду, выслушала официальное предложение, переданное ей тетушкою, боясь поверить выпадавшему ей на долю счастью. Тщетно пыталась сестра открыть ей глаза, поверяя все хитро сплетенные интриги, которыми до последней минуты пытались ее опутать, и рисуя ей картину семейной жизни, где с первого шага Екатерина Николаевна должна будет бороться с целым сонмом ревнивых подозрений и невыразимой мукой сознания, что обидное равнодушие служит ответом ее страстной любви.

На все доводы она твердила одно:

– Сила моего чувства к нему так велика, что рано или поздно оно покорит его сердце, а перед этим блаженством страдание не страшит!

Наконец, чтобы покончить с напрасными увещаниями, одинаково тяжелыми для обеих, Екатерина Николаевна в свою очередь не задумалась упрекнуть сестру в скрытой ревности, наталкивающей ее на борьбу за любимого человека.

– Вся суть в том, что ты не хочешь, ты боишься его мне уступить! – запальчиво бросила она ей в лицо.

Краска негодования разлилась по гордому, прекрасному лицу:

– Ты сама не веришь своим словам, Catherine! Ухаживание Геккерена сначала забавляло меня, оно льстило моему самолюбию; первым побуждением служила мысль, что муж заметит новый, шумный успех, и это пробудит его остывшую любовь. Я ошиблась! Играя с огнем, можно обжечься. Геккерен мне понравился. Если бы я была свободна, – не знаю, во что бы могло превратиться мимолетное увлечение. Постыдного в нем ничего нет! Перед мужем я даже и помыслом не грешна, и в твоей будущей жизни помехой, конечно, не стану. Это ты хорошо знаешь. Видно, от своей судьбы никому не уйти!

И на этом покончились все объяснения сестер.

Накануне свадьбы Наталья и Александра Николаевны сообща подарили невесте скромный подарок на память.

В 1872 году, в бытность мою за границей, случай свел меня у тети Фризенгоф со второй дочерью Екатерины Николаевны, Berthe Vandal, которая свято сохранила это воспоминание покойной матери и показала его мне. Это был широкий золотой браслет, с тремя равными корналинами, внутри было выгравировано число (ускользнувшее из памяти) со словами: «Souvenir d’ éternelle afection. Alexandrine. Nathalie» («На память вечной привязанности. Александра. Наталья»).

Вид его послужил мне разгадкой болезненного, почти суеверного страха, который мать всегда питала к этому камню. Она до такой степени не терпела его в доме, что однажды, заметив на подаренном ей отцом наперстке корналиновое донышко, она видимо встревожилась и успокоилась только тогда, когда его поспешили заменить металлом. На мой любопытный вопрос она только махнула рукою, промолвив:

– Желаю тебе никогда не испытать столько горя, несчастий и слез, сколько этот камень влечет за собой.

Давно уже ходячим афоризмом стало, что суеверие – признак неразвитости ума. Это, конечно, никто не дерзнет применить к Пушкину, а между тем с самой своей юности он ему был сильно подвержен.

Мать моя позаимствовала от него очень много дурных примет, и при всей своей набожности всегда испытывала неприятное чувство, встречая на улице или в пути священника. В оправдание себя она приводила случай, бывший с Александром Сергеевичем, из которого ясно выходило, что, побори он тогда свой предрассудок, ему пришлось бы поплатиться неминуемой

бедой.

Он проживал тогда в Михайловском, по приказанию свыше отданный под надзор местной полиции, с воспрещением выезда до разрешения. Продолжительная осенняя непогода, долгое одиночество сильно влияли на его впечатлительную натуру. Его обуяла тоска. Петербург манил всей неотразимостью запретного плода. Сердце так и рвалось в тесный кружок, ум жаждал окунуться в струю живой деятельности. Расстояние казалось таким недалеким, надежный приют – только выбирай: никто не выдаст ослушания. А только хоть бы день или два провести на воле, обменяться мыслями, вздохнуть полной грудью! Тщетно протестовал рассудок, стращая царским гневом и роковыми последствиями, – искушение осилило, и наутро Александр Сергеевич отдал все распоряжения к отъезду.

Не успел он выехать из околицы, как заяц перебежал через дорогу. Его покоробило, но он решил не обращать на это внимания. Не припомню вторую примету, вскоре появившуюся и еще сильнее смутившую его; но страстное желание и ее превозмогло.

Наконец, ему навстречу попался священник. Тут уже он признал себя побежденным зловещей случайностью и, с досадой крикнув: «Пошел домой!» – вернулся в Михайловское.

Не прошло нескольких дней, к нему нагрянула встревоженная полиция по запросу из Петербурга, – не нарушил ли Пушкин свое изгнание? И только тут он узнал о кровавом событии 14 декабря. Самовольная отлучка как раз совпала бы с этим числом, старая дружба с Кюхельбекером и многими другими заговорщиками в глазах самых непредубежденных людей неминуемо выставила бы его причастным к мятежу, и дорого пришлось бы за нее поплатиться!

Это совпадение оправдавшихся примет не изгладилось из его памяти и еще тверже укрепило суеверное настроение.

Столько появлялось в печати вздорных выдумок и нелепых рассказов о Пушкине, что семья только недоумевала перед их фантастическим источником, а вместе с тем никто не обмолвился о редком духовном явлении, обнаруживавшемся в нем помимо его воли.

Приведу здесь два рассказа, ручаясь за их достоверность, потому что слышала их от самой матери, слепо веровавшей в эту необъяснимую способность, так как она оправдалась на ее дальнейшей судьбе.

Первый факт произошел в Царском Селе, на квартире Жуковского. Вечером к нему собрались невзначай человек пять близких друзей; помню, что между ними находился кн.

Вяземский, так как в его памяти также сохранялось мрачное предсказание.

Как раз в этот день наследник Александр Николаевич прислал в подарок любимому воспитателю свой художественно исполненный мраморный бюст. Тронутый вниманием, Жуковский поставил его на самом видном месте в зале и радостно подводил к нему каждого гостя. Посудили о сходстве, потолковали об исполнении и уселись за чайным столом, перейдя уже на другие темы.

Пушкин, сосредоточенно молчаливый, нервными шагами ходил по залу взад и вперед. Вдруг он остановился перед самым бюстом, впился в мраморные черты каким-то странным, застывшим взором, затем, обеими руками закрыв лицо, он надтреснутым голосом вымолвил:

– Какое чудное, любящее сердце! Какие благородные стремления! Вижу славное царствование, великие дела и – боже! – какой ужасный конец! По колени в крови! – И как-то невольно он повторял эти последние слова.

Друзья бросились к нему с расспросами. Он отвечал неохотно. Будущее точно отверзло перед ним завесу, показав целую вереницу картин, но последняя настолько была кровава и ужасна, что он хотел бы ее навек позабыть. Некоторые не поверили, объявив, смеясь, что не дадут себя морочить. Жуковский и Вяземский, поддавшись его настроению, пытались его успокоить, приписывая непонятное явление нервному возбуждению, и всячески ухищрялись развлечь его. Это им, однако, не удалось, и под гнетом мрачных мыслей вернулся он ранее обыкновенного домой и передал жене этот странный случай.

В то время мысль о покушениях была так далека от человеческого ума, что мать, под влиянием провидения Пушкина, страшилась революции, наподобие французской, – столь близкой ее поколению, и всегда твердила, что у нее одно желание: не дожить до ее кровавых ужасов. Оно исполнилось. Ей, беззаветно преданной императору Николаю, своему мощному покровителю и благодетелю ее детей, перенесшей благоговейную любовь на его сына, не пришлось дожить до позорной страницы летописи русской, до рокового дня 1 марта, когда царь-Освободитель, по колена в крови, сменил земную корону на светлый мученический венец.

Второй случай произошел позднее, за несколько месяцев до смерти Пушкина.

Произошло это также вечером, но дома. Мать сидела за работой; он провел весь день в непривычном ему вялом

настроении. Смутная тоска обуяла его; перо не слушалось, в гости не тянуло, и, изредка перекидываясь с нею словом, он бродил по комнате из угла в угол. Вдруг шаги умолкли, и, машинально приподняв голову, она увидела его стоявшим перед большим зеркалом и с напряженным вниманием что-то разглядывающим в нем.

– Наташа! – позвал он странным, сдавленным голосом. – Что это значит? Я ясно вижу тебя, и рядом – так близко! – стоит мужчина, военный… Но не он, не он!.. Этого я не знаю, никогда не встречал. Средних лет, генерал, темноволосый, черты неправильны, но недурен, стройный, в свитской форме. С какой любовью он на тебя глядит! Да кто же это может быть? Наташа, погляди!

Она, поспешно вскочив, подбежала к зеркалу, на гладкой поверхности которого увидела лишь слабое отражение горевших ламп, а Пушкин еще долго стоял неподвижно, проводя рукою по побледневшему лбу.

Очнувшись, на ее расспросы, он вторично описал приметы появившегося незнакомца, и, перебрав вместе немногочисленных лиц царской свиты, с которыми приходилось встречаться, пришли к заключению, что никто из них не походит на портрет. Пушкин успокоился; он даже облегченно вздохнул; ему, преследуемому ревнивыми подозрениями относительно Геккерена, казалось, что видение как будто устраняло его. Мать же, заинтересованная в первую минуту, не подобрав никого подходящего между знакомыми, приписала все грезам разыгравшегося воображения и, среди надвигавшихся мрачных событий, предала это скорому забвению.

Лишь восемь лет спустя, когда отец предстал перед ней с той беззаветной любовью, которая и у могилы не угасла, и она услышала его предложение, картина прошлого воскресла перед ней с неотразимой ясностью. Загробный голос Пушкина словно звучал еще, описывая облик таинственного видения, и молниеносно блеснуло в уме: «c'était écrit!»[4].

VI

Свадьба Геккерена с Екатериной Николаевной ненамного и, главное, ненадолго улучшила семейное положение Пушкиных.

Согласно категорически выраженному желанию Александра Сергеевича, Наталья Николаевна в дом к сестре не ездила, а принимала ее только одну. Равнодушие, с которым она относилась к совершившемуся факту, ненарушимая ровность

нрава дома и естественность отношения к зятю, при случайных встречах в свете, отрезвили Пушкина. Он понимал, что такая чистая, возвышенная натура, если и поддалась минутному увлечению, как занесенной искре от пылавшего костра, закалена броней сознательного долга и сумеет ее затушить, и он верил всем существом, что честь его имени в надежных руках. Но этого было недостаточно болезненному самолюбию. Так беззаботно осмеивая других, он трепетал при одном предположении, что может стать мишенью для чужих острот. И на этой слабой струнке зиждился весь план тайных врагов, задумавших его погибель.

Опасения Натальи Николаевны относительно счастья сестры не замедлили оправдаться. Она страдала сильнее Пушкина и, понятно, с большим основанием. Опрометчивый шаг, который в тайнике своей души Геккерен считал, вероятно, ступенью к сближению, оказался лишь новой, непреодолимой преградой. Лицемерить с постылой женой было не под силу. Она чувствовала, что между ними вечно стоит для него – неприступный, для нее – раздражающий облик сестры. Она не могла простить ей ни ее прозорливости, ни постоянного невольного торжества. Заветною ее мечтою стало – уехать с мужем во Францию, чтобы примирить его с семьей и задержать его там надолго, быть может, навсегда. Разлука и влияние иной, прежней сферы казались ей самыми надежными средствами для излечения мучительной страсти.

Если это путешествие осуществилось бы, то, по всем вероятиям, Россия бы еще долгие годы гордилась и прославлялась своим поэтом, но молодая женщина, увлекаясь своим планом, так много говорила о предполагаемом отъезде, что натолкнула недремлющих врагов на новый энергический приступ.

Прекратившиеся было анонимные наветы снова посыпались на несчастного Пушкина со змеиным шипением. Они пытались злорадно изобличить, что брак служил только ловким прикрытием прежних разоблаченных отношений. Страсть Геккерена, с которой он не имел силы совладать, служила богатым материалом для низких инсинуаций. Бестактный каламбур раздувался в целое событие. Невидимая паутина сплеталась вокруг Натальи Николаевны. Каждый ее шаг, каждое ее слово не ускользало от зоркого наблюдения, и так как нельзя было в них найти повода к обличению, то все передавалось в превратном свете. Преследовалась единственная цель – частыми каплями яда растравлять еще муку ревнивой души. Он несказанно терзал себя. Чем воображение богаче, тем картины, восстающие в нем, разнообразнее страданиями. Он спешил к

жене, допрашивал, оскорблял ее подозрениями, своим жгучим, проницательным взором врывался в ее сокровенные помыслы, – и видел, как, широко открыта, лежала перед ним книга ее совести и с каким нежным состраданием взирали на него ее вдумчивые, лучистые глаза. Он ясно читал тогда, что на прекрасном, гордо поднятом челе нет места измене и обману.

Мгновенно успокоенный, он молил прощения, целовал ее руки, давал клятву впредь презирать это орудие людской подлости, и мир водворялся в наболевшей душе, но, увы, ненадолго, и новое письмо подымало снова бурный шквал.

Кровавая развязка подступала все ближе и ближе. Геккерен, окончательно разочарованный в своих надеждах, так как при редких встречах в свете Наталья Николаевна избегала, как огня, всякой возможности разговоров, хорошо проученная их последствиями, прибегнул к последнему средству.

Он написал ей письмо, которое было – вопль отчаяния с первого до последнего слова.

Цель его была добиться свидания. «Он жаждал только возможности излить ей всю свою душу, переговорить только о некоторых вопросах, одинаково важных для обоих, заверял честью, что прибегает к ней единственно, как к сестре его жены, и что ничем не оскорбит ее достоинство и чистоту». Письмо, однако же, кончалось угрозою, что, если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, он не в состоянии будет пережить подобное оскорбление. Отказ будет равносилен смертному приговору, а может быть, даже и двум. Жена, в своей безумной страсти, способна последовать данному им примеру, и, загубленные в угоду трусливому опасению, две молодые жизни вечным гнетом лягут на ее бесчувственную душу.

Теперь и для Натальи Николаевны наступил час мучительной нравственной борьбы!

На одной чашке весов лежит строжайший запрет мужа, внутренний трепет при сознании опрометчивого шага и предвидение, что, при всей вере в свою непогрешимость, она добровольно кует орудие для собственного позора, которое не ускользнет от стаи воронов, каркающих над ее головою.

На другой – сплетался страх пред правдоподобностью самоубийства, так как Геккерен доказал своей женитьбой, что он способен на самые неожиданные меры, со смутной тревогой за участь, готовящуюся сестре. Может быть, другая женщина, более опытная в жизни, и призадумалась бы над шумихой громких фраз, но, недоступная внушениям лжи или самообмана, она не признавала их и в других. Наконец, сострадание также подало свой голос.

Дилемма неразрешимой тяжестью давила ум; беда грозила с обеих сторон, но ей чудилось, что опасность рокового свидания грозила только ей одной, в противовес поставленной на карту человеческой жизни. Доводы рассудка были разбиты призраком смерти, жребий брошен.

Года за три перед смертью она рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас. С ее слов я узнала, что, дойдя до этого эпизода, мать со слезами на глазах сказала: «Voyez-vous'ma chere Constance, depuis tant d' années écoulées, je n'ai pas cessé de scruter ma conscience bien rigoureusement, et le seul acte qu'elle me reproche – c'est mon co-nsentement à cette entrevue secrète, – entrevue que mon mari a payé de son sang et moi du bonheur et de la paix de ma vie entière. Dieu m'est témoin qu'elle a été aussi courte qu'innocente et pourtant que de maux à sa suite! La seule excuse que je me trouve est mon inexpérience doublée de compassion. Mais qui peut en admettre la sincérité?» (Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание… Свидание, за которое муж заплатил своей кровью, а я – счастьем и покоем всей своей жизни. Бог свидетель, что оно было столько же кратко, сколько невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве сострадания… Но кто допустит его искренность?)

Местом свидания была избрана квартира Идалии Григорьевны Полетика, в кавалергардских казармах, так как муж ее состоял офицером этого полка. Она была полуфранцуженка, побочная дочь графа Григория Строганова, воспитанная в доме на равном положении с остальными детьми, и, ввиду родственных связей с Загряжскими, Наталья Николаевна сошлась с ней на дружескую ногу. Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех.

В числе ее поклонников самым верным, искренно влюбленным и беззаветно преданным был в то время кавалергардский ротмистр Петр Петрович Ланской.

Хорошо осведомленная о тайных агентах, следивших за каждым шагом Пушкиной, Идалия Григорьевна, чтобы предотвратить опасность возможных последствий, сочла нужным

посвятить своего друга в тайну предполагавшейся у нее встречи, поручив ему, под видом прогулки около здания, зорко следить за всякой подозрительной личностью, могущей появиться близ ее подъезда.

Отец мой не был тогда знаком с матерью. Всецело поглощенный службою, он посвящал свои досуги Идалии Григорьевне, чуждался светской жизни и только по обязанности появлялся на придворные балы, где видал издалека прославленную красавицу Пушкину, но, всей душою отдавшись другой женщине, ничуть ею не интересовался. Наталья Николаевна его даже и в глаза не знала.

Всякое странное явление в жизни так удобно обозвать случаем! Но мне именно сказывается перст Божий в выборе Идалией Григорьевной того человека, который, будучи равнодушным свидетелем происшедшего события, наглядно доказал, до какой степени свидание, положившее незаслуженное пятно на репутацию матери, было в сущности невинно и не могло затронуть ее женской чести.

Вся семья Ланских была воспитана в традициях строгой нравственности. Мужчины всегда ставили честь выше всего. Женщины не составляли себе культа из добродетели, – это было просто свойство и потребность их природы. Может быть, случалось, что любовь и искушение вкрадывались в душу, но победоносная борьба составляла тайну их перед Богом.

Перебирая в уме все эти отжившие облики, я не встречаю ни единого, давшего повод к злоречию и нареканиям. Конечно, теперь, в эпоху всевозможных «свобод» и распущенности нравов, эти понятия покажутся смешным пережитком далекого прошлого, но на этих устоях зиждилась семья, и ее мощью была несокрушима Русь.

Характерной чертой может служить отношение всей родни к фавориту Ланскому. Его считали отщепенцем, и презрительно говорили о его возвышении, как позорящем весь род. Подобные, унаследованные отцом воззрения служат лучшей порукой, что семь лет спустя он никогда не решился бы дать свое безупречное имя женщине, в чистоту которой он не верил бы так же безусловно, как в святость Бога.

Несмотря на бдительность окружающих и на все принятые предосторожности, не далее как через день Пушкин получил злорадное извещение от того же анонимного корреспондента о состоявшейся встрече. Он прямо понес письмо к жене.

Оно не смутило ее. Она не только не отперлась, но, с присущим ей прямодушием, поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что

свидание не имело того значения, которое она предполагала, а было лишь хитростью влюбленного человека. Этого открытия было достаточно, чтобы возмутить ее до глубины души, и тотчас же, прервав беседу, своей таинственностью одинаково оскорбляющую мужа и сестру, она твердо заявила Геккерену, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям и что это первое, его угрозами вынужденное свидание, непреклонной ее волею станет последним.

При всей искренности намерения, она, расставаясь, была далека от мысли, что им не суждено было более видеться на земле. Исповедь ее дышала такой неподдельной правдой; в ней проглядывало столько сердечного сокрушения за легкомысленный поступок, обидой и горем отозвавшийся на нем, что Пушкин, врожденный великий психолог, мгновенно отбросил всякий помысел о лицемерии и обмане. И этот единственный раз, когда донос имел в основе хоть голый факт, все обошлось тихо, без гневной вспышки ревности; слова упрека застыли на языке, щадя ее безыскусственное, почти детское раскаяние.

Он нежным, прощающим поцелуем осушил ее влажные глаза и, сосредоточенно задумавшись, промолвил как бы про себя: «Всему этому надо положить конец!»

Он оставил ее успокоенной, почти обрадованной исходом объяснения: таким тяжелым, непривычным гнетом лежала у ней на душе единственная тайна от мужа. Великое множество людей обладает способностью творить зло как бы бессознательно. Окружающим, обыкновенно близким, они причиняют страдания, а потом наивно недоумевают, когда приходит время в этом убедиться. В самоизвинениях недостатка не бывает. Довольно слабого мозгового усилия, – и пострадавший покорно преобразуется в виноватого. Покой таких людей ненарушим. Другие, напротив, склонны увеличивать свои вины и прегрешения, мучиться непредусмотренными последствиями, и если обстоятельства или смерть отнимают возможность искупления, сознание сделанного гложет еще сильнее, отравляет всякое дальнейшее счастье.

К этим чутким натурам принадлежала Наталья Николаевна. Хорошо изучив пылкий, необузданный нрав Пушкина и сопоставляя его впоследствии с мягкостью и любовным состраданием, проявленным в минуту скорбного сознания ее виновности, она благоговейно преклонялась перед величием его души, и это воспоминание еще сильнее разжигало всегда сочащуюся рану, которую она унесла с собой в могилу. А праздная легкомысленная толпа, падкая на эффектные, шумные проявления горя, не умела распознать скрытого, величайшего

страдания, и заклеймила равнодушием и холодностью это, собственным суровым приговором истерзанное женское сердце.

Приведенное выше объяснение имело последствием вторичный вызов на дуэль Геккерена, но уже составленный в столь резких выражениях, что отнята была всякая возможность примирения. Все последовавшие переговоры, кровавый исход и, наконец, последние дни земных страданий Пушкина давно уже стали достоянием истории.

К подробным разоблачениям Данзаса, к душепотрясающему описанию Жуковского я не могу ничего прибавить.

Тем, которые в партийных целях старались представить великого поэта атеистом и лицемером перед Царем, следовало бы проникнуться теплотою и искренностью мыслей, высказанных им на смертном одре. Даже в мелких, обыденных натурах обман и лесть, посрамленные, отходят в эту минуту, а его возвышенная душа, сознавшая близкое присутствие Бога, источника вечного света, неудержимо изливала все, что накопилось в ней годами.

Мать всегда глубоко возмущалась всякими намеками, а иногда даже утверждениями о его атеизме. Он не раз не только сожалел, но прямо скорбел о легкомыслии, которому поддался, сочинив свою «Гавриилиаду», и приходил делиться с ней радостью, как только ему удавалось сжечь хранившийся у кого-либо из друзей экземпляр.

«Не знаю, что бы я дал, чтобы и помин об ней уничтожить!» – всегда говорил он с нескрываемым раздражением. И не только сущность веры была ему дорога, но он ценил даже православную обрядность.

В роде бояр Пушкиных с незапамятных времен хранилась металлическая ладанка с довольно грубо гравированным на ней Всевидящим Оком и наглухо заключенной в ней частицей Ризы Господней. Она – обязательное достояние старшего сына, и ему вменяется в обязанность 10 июля, в день праздника Положения Ризы, служить перед этой святыней молебен. Пушкин всю свою жизнь это исполнял и завещал жене соблюдать то же самое, а когда наступит время, вручить ее старшему сыну, взяв с него обещание никогда не уклоняться от семейного обета. Кстати упомянуть тут, что Александр Сергеевич очень гордился древностью своего рода; он был сто первый по старшей линии, и его стихотворение о своем «мещанстве», конечно, было только злая ирония относительно новоиспеченных вельмож. Он ценил своих предков за добросовестную и верную службу России, за стойкость мнений, приведших некоторых на плаху.

Мать рассказывала, что, когда родился второй сын, она хотела назвать его Николаем, но он пожелал почтить память

одного из своих предков, казненных в смутное время, и предоставил ей выбор между двумя именами: Гавриила и Григория. Она предпочла последнее.

Что же касается до его отношений к императору Николаю, – его либерализм и свободолюбие были чужды ослепления. Он признавал рыцарские черты цельного характера государя; возмущаясь порой суровостью его правления, он невольно чувствовал обаяние его мощи; наконец, откровенность, столь чуждая придворным сферам, установившаяся в обмене их мыслей, благодарным семенем запала в сердце, способном оценить великодушное доверие, и искренен был возглас его умирающей души, сожалевшей о силах, утраченных для служения Царю.

Наша няня не могла вспомнить без содрогания о страшном состоянии, в которое впала мать, как только в наступившей смерти нельзя было более сомневаться.

Бесчувственную, словно окаменелую физически, ее уложили в постель; даже в широко открытых, неподвижных глазах всякий признак жизни потух. «Ни дать, ни взять сама покойница», – описывала она.

Екатерина Ивановна Загряжская, привязавшаяся к ней всей душою, не могла выдержать вида этого олицетворенного страдания и оставила ее на попечение княгини Вяземской, неотлучно ухаживавшей за ней в эти скорбные часы.

Она не слышала, что вокруг нее делалось, не понимала, что ей говорили. Все увещания принять пищу были бесполезны, судорожное сжимание горла не пропускало и капли воды. Долго бились доктора и близкие, чтобы вызвать слезы из ее застывших глаз, и только при виде крошечных, осиротелых детей, они, наконец, брызнули неудержимой струей, прекратив это почти каталептическое состояние. Но с возвратом сознания пробудилась острая, жгучая боль того безысходного, сокрушающего горя, следы которого никогда не изгладились.

С пятилетнего возраста я явственно помню мать, и несмотря на то, что ее вторая семейная жизнь согласием и счастьем сложилась почти недосягаемым идеалом, веселой я ее никогда не видала. Мягкий ее голос никогда порывом смеха не прозвучал в моих ушах; тихая, затаенная грусть всегда витала над ней. В зловещие январские дни она сказывалась нагляднее; она удалялась от всякого развлечения, и только в усугубленной молитве искала облегчения страдающей душе.

Я росла страшно живой, впечатлительной, бойко-веселой девочкой. Отец был молчалив, невозмутимо спокоен по натуре; людям, поверхностно судившим о нем, он казался холодным и гордым; мать – сосредоточенная, скромная до застенчивости,

кротости и доброты необычайных. Хорошо помню, что кто-то из родственников, глядя на меня, удивляясь самобытности моего характера, ничего общего не имевшего с родителями, недоумевающе заметил: «И в кого только она такая уродилась?» Вдумчивый взор матери через мою голову устремился вдаль, и с подавленным вздохом она промолвила:

– В кого? Да в меня. И я когда-то была такая, беззаботная, доверчивая, веселая… Но давно, давно, пока меня еще жизнь не сломила.

VII

Несмотря на все мои старания, мне удалось собрать так мало данных о семилетнем вдовстве матери, что я имела поползновение на этой точке прекратить свое повествование.

Вскоре после смерти Пушкина Наталья Николаевна с сестрою и детьми покинула Петербург, уехав в майоратное имение старшего брата Дмитрия Полотняные Заводы. Говорят, что этим решением она подчинилась предсмертному совету мужа, желавшего ее удаления на время от столичной жизни, с предвиденными им пересудами, толками и нареканиями. Но так как я этого ни от нее, ни непосредственно от близких не слыхала, то утверждать не решаюсь.

Два года продолжалось это добровольное изгнание, и обстоятельства так сложились, что мало отрады принесло оно ей в ее тяжком горе. Покинула она родовое гнездо беззаботным, балованным, обожаемым ребенком, а вернулась с разбитым сердцем, обремененная семьей, в постоянной заботе о насущном хлебе.

Дмитрий Николаевич был человек добрый, весьма ограниченного ума, путаник в делах, которому не под силу было восстановление почти рухнувшего состояния Гончаровых. Слабохарактерный по природе, он находился в полном порабощении у своей жены.

По происхождению из кавказских княжон, но выросшая в бедности, в совершенно другой среде, почти без образования, она с врожденной восточной хитростью сумела его женить на себе как-то невзначай.

Он и впоследствии никак не мог себе уяснить, как он дошел до такого шага, даже без особенной любви к ней, хорошо понимая, что подобный выбор неминуемо внесет разлад в его семейные отношения.

Елизавета Егоровна отдавала себе ясный отчет в

недружелюбности мужниной родни, и, живя безвыездно в деревне, она напрягала все усилия отдалить его от своих, чтобы не утратить так ловко захваченного влияния. При ней состояла тетушка, признававшая только два занятия – сон и еду, а в промежуток развлекавшаяся гаданием на картах и сплетнями на многочисленную челядь, зачастую вызывавшими крутую расправу. В доме поселился еще какой-то родственник, юркий армянин, усердно помогавший ей в управлении делами, но гораздо больше заботившийся о собственной пользе. Нежданное появление двух мужниных сестер, да еще с маленькими детьми, не могло ей прийтись по душе, но она, в особенности сначала, не смела нарушить правила глубоко укоренившегося семейного гостеприимства. Трудно было ей примениться к светскому обращению, которое было ей чуждо, и в этих стенах, хранивших следы широкого, расточительного барства, мелкие и частые проявления ее мещанских привычек казались резким диссонансом.

Хотя черты лица ее давно утратили кратковременную привлекательность южного типа, она продолжала себя считать красивой и пыталась соперничать с Натальей Николаевной. Плохо умытая, небрежно причесанная, в помятом ситцевом платье сомнительной свежести, она появлялась с бриллиантовой фероньерой на лбу и торжествующим взором оглядывала траурный наряд своей гостьи.

Это соревнование могло, конечно, вызвать только невольную усмешку, но ее грубая бестактность способна была отравлять ежедневно существование. Елизавета Егоровна мало-помалу сочла лишним стесняться; она не упускала случая подчеркивать, что она у себя дома, а золовки обязаны ценить всякое одолжение; обижалась и дулась из-за каждого пустяка, требовала от мужниных сестер того же раболепного угодничества, как от собственных родственников, и обзывала гордостью для нее непонятное чувство собственного достоинства.

Александра Николаевна, обладая сама строптивым нравом, не давала ей спуску, метким словом напоминания восстановляя нарушенные границы, но это, конечно, еще более обостряло отношения.

Наталья Николаевна, безучастная ко всему, молча переносила эти дрязги, но сознание, что она невольной обузой тяготеет над братниным очагом, созревало в ней, и когда письма тетушки Екатерины Ивановны[5], желающей утешить свою старость близостью единственно любимого существа, стали все настойчивее призывать ее, она, наконец, не без содрогания сердца, решила вернуться в ту среду, где столько тяжкого было

пережито, столько обидного чуялось впереди. В памяти старшего брата еще живо воспоминание этого путешествия из Калужской губернии в Петербург на почтовых, с краткой побывкой в Яропольце, где впервые дети увидели бабушку, из былой красавицы преобразившуюся в сухую, строгую старуху, застывшую в суровом благочестии. Все, что было вне ее замкнутой жизни, стало ей так чуждо, что ни горе, ни одиночество дочери не повело к сближению между ними, и это свидание, взамен утешения сердцу и нравственной поддержки, обратилось только в исполнение почтительного долга. Эта нота преобладала до самой ее кончины. В моей детской памяти глубоко врезалось обсуждение поздравительных писем к праздничным дням. При выражаемых пожеланиях, строго воспрещалось употреблять слова: joie[6] или bonheur[7], так как она принимала это за иронию или скрытое издевательство. Это неминуемо вызывало гнев. Всякий раз тщательно взвешивалось значение paix de Fame, contentement moral, quietude spirituelle (спокойствие души, нравственное удовлетворение, душевный покой): эти слова должны были служить заменою общепринятых благопожеланий.

Поселившись в столице, мать была встречена с распростертыми объятиями семьей Карамзиных и старшей дочерью их, княгиней Мещерской, с которой она сохранила до самой кончины неразрывную дружбу, скрепленную еще женитьбой ее второго брата Ивана на сестре князя Петра Ивановича. С четой Вяземских каждая разлука сопровождалась непрерывной задушевной перепиской, и князь Петр Андреевич, переживший мать на многие годы, никогда не упускал случая отозваться о ней с горячей привязанностью и глубоким уважением.

Об отношениях ее к Сергею Львовичу Пушкину, к сестре мужа Ольге Сергеевне Павлищевой, я считаю лишним упоминать, так как в напечатанных записках сына последней они выставлены в надлежащем свете, представляя, бесспорно, больше веса, чем все то, что мною может быть сказано. Жуковский, Плетнев, Нащокин – все истинные друзья Пушкина наперерыв старались всячески доказать ей свое участие, облегчая ее заботы, отлично понимая, до какой степени их нравственная опора дороже ей всего на свете. Они, так тесно связанные с поэтом, так сильно любившие его, так почитающие его память, естественно, являлись лучшими, неподкупными судьями и, признавая в ней жертву обстоятельств, а не виновницу их, укрепляя в ней веру в свою правоту, внушали нехватающую силу на борьбу с тайной, недремлющей злобою.

Нигде она так не отдыхала душою, как на карамзинских

вечерах, где всегда являлась желанной гостьей. Но в этой пропитанной симпатией атмосфере один только частый посетитель как будто чуждался ее, и за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность.

Это был Лермонтов.

Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых, условных фраз.

Матери это было тем более чувствительно, что многое в его поэзии меланхолической струей подходило к настроению ее души, будило в ней сочувственное эхо. Находили минуты, когда она стремилась высказаться, когда дань поклонения его таланту так и рвалась ему навстречу, но врожденная застенчивость, смутный страх сковывали уста. Постоянно вращаясь в том же маленьком кругу, они чувствовали незримую, но непреодолимую преграду, выросшую между ними.

Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верный дорогой привычке, он приехал провести последний вечер к Карамзиным, сказать грустное прости собравшимся друзьям. Общество оказалось многолюднее обыкновенного, но, уступая какому-то необъяснимому побуждению, поэт, к великому удивлению матери, завладев освободившимся около нее местом, с первых слов завел разговор, поразивший ее своей необычайностью.

Он точно стремился заглянуть в тайник ее души и, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспощадности осуждений, так часто отталкивавших от него ни в чем перед ним не повинных людей.

Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением; она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой, не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно и, дав ему волю, простыми, прочувствованными словами она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли. И по мере того, как слова непривычным потоком текли с ее уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял с быстротою вешнего снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просветления.

В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал:

– Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в этой гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему, здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собою вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не слишком самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным.

– Прощать мне вам нечего, – ответила Наталья Николаевна, – но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.

Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым перед самым отъездом.

Ему не суждено было вернуться в Петербург, и когда весть о его трагической смерти дошла до матери, сердце ее болезненно сжалось. Прощальный вечер так наглядно воскрес в ее памяти, что ей показалось, что она потеряла кого-то близкого!

Мне было шестнадцать лет, я с восторгом юности зачитывалась «Героем нашего времени» и все расспрашивала о Лермонтове, о подробностях его жизни и дуэли. Мать тогда мне передала их последнюю встречу и прибавила:

– Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца, и вот чем была она мне дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение обо мне унес с собою в могилу.

Силою обстоятельств Наталья Николаевна понемногу втянулась в прежнюю светскую жизнь, хотя и не скрывала от себя, что для многих это служит лишним поводом упрекнуть ее в легкомыслии и равнодушном забвении. Но она не в силах была устоять деспотическому влиянию тетушки, настаивавшей на принятии любезных или лестных приглашений и не допускавшей даже мысли об отклонений чести появления во дворце. А император часто осведомлялся о ней у престарелой фрейлины, продолжая принимать живое участие в ее судьбе, интересуясь изданием сочинений Пушкина, входя в материальное положение осиротелой семьи, и выражал желание, чтобы Наталья Николаевна по-прежнему служила одним из лучших украшений

его царских приемов.

Одно из ее появлений при Дворе обратилось в настоящий триумф.

В залах Аничковского дворца, взамен обычных танцевальных вечеров, на которые ввиду их интимности добивались приглашения как знака Высочайшей милости, состоялся костюмированный бал в самом тесном кругу.

Екатерина Ивановна выбрала и подарила племяннице чудное одеяние в древнееврейском стиле, – по известной картине, изображавшей Ревекку. Длинный фиолетовый бархатный кафтан, почти закрывая широкие палевые шальвары, плотно облегал стройный стан, а легкое из белой шерсти покрывало, спускаясь с затылка, мягкими складками обрамляло лицо и, ниспадая на плечи, еще рельефнее подчеркивало безукоризненность классического профиля.

– Ce qu'il faut être sûre de sa beauté, pour oser arborer semblable coifure! (Как надо быть убежденной в своей красоте, чтобы дерзнуть появиться в подобной прическе!) – восторженно воскликнул парикмахер, любуясь своим изделием.

И с первых шагов во дворце всеобщее внимание подтвердило вырвавшийся у него вердикт. Всеобщая волна восхищения более смущала скромность Натальи Николаевны, чем льстила ее самолюбию, и она еще до выхода царской семьи забилась в самый далекий, укромный уголок. Но ее высокий рост выдал ее орлиному взгляду Николая Павловича, быстро окинувшему залу.

Как только начались танцы, он направился к ней и, взяв ее руку, повел в противоположную сторону и поставил перед императрицей, сказав во всеуслышание:

– Regardez et admirez! (Смотрите и восхищайтесь!)

Александра Федоровна послушно навела лорнет на нее и со своей доброй, чарующей улыбкой ответила:

– Oui, belle, bien belle en vérité! C'est ainsi que votre image aurait dûpasser à la postérité. (Да, прекрасна, в самом деле прекрасна! Ваше изображение таким должно бы было перейти потомству.)

Она продолжала милостиво расспрашивать мать о подробностях ее костюма, но отвечала ли она ей удачно или невпопад, этого она потом никак сообразить не могла, до такой степени растерялась от непредвиденного инцидента.

– Мне кажется, легче было бы провалиться сквозь землю, чем выстоять под всеми, точно впившимися в меня взглядами, – заключила она рассказ о самом блестящем успехе ее молодости. Император поспешил исполнить желание, выраженное супругою. Тотчас после бала придворный живописец написал акварелью

портрет Натальи Николаевны в библейском костюме для личного альбома императрицы. По ее словам, это вышло самое удачное изображение из всех тех, которые с нее снимали. Вероятно, альбом этот сохраняется и теперь в архиве Аничковского дворца, но никому из детей не привелось его видеть.

Мать, наученная горьким опытом, держала себя так скромно и неприступно, что скоро отбивала охоту ухаживания у людей, которые на это покушались.

Екатерина Ивановна, чувствовавшая, что смерть уже не за горами, часто тревожилась мыслью о ее необеспеченности в будущем и лелеяла сокровенную мечту видеть ее пристроенною и обретшею счастье в новой жизни.

Но осуществления этого желания было нелегко достигнуть.

Многие под влиянием искреннего увлечения, пожалуй бы, и решились жениться на вдове-бесприданнице, но одна мысль о неизбежной обузе в виде четырех малолетних детей всегда действовала отрезвляющим душем.

Тем не менее года за два до ее второго замужества, Наталье Николаевне представилась возможность сделать одну из самых блестящих партий во всей России. В нее влюбился князь Голицын, обладатель колоссального состояния.

Вопрос о средствах, конечно, не мог играть тут никакой роли, но он вообще не любил детей, а чужие являлись для него подавно непосильным бременем. Мальчики еще казались меньшим злом, так как приближалось время, когда они должны были поступить в учебные заведения, но с девочками пришлось бы возиться, иметь их вечно перед глазами. Единственным исходом было заручиться обещанием воспитывать их в детском отдельном апартаменте, до первой возможности поместить их в институт – тем легче, что по смерти Пушкина государь предоставил Наталье Николаевне выбор в любой из них.

Мать всегда была убежденным врагом институтского воспитания, находя, что только родной глаз может следить зорко за развитием детского ума и сердца, что только нежная опытная рука способна посеять и вывести добрые семена. И достаточно было подосланному лицу только заикнуться о придуманном плане устранения преграды, чтобы она наотрез заявила:

– Кому мои дети в тягость, тот мне не муж!

Князь не сумел оценить это материнское самоотвержение, предпочел ему эгоистический покой и прекратил свои посещения.

И эту женщину, всегда стремившуюся жить на пользу близким, выше всего ставившую благо детей, принято шаблонно изображать пустой, холодной, алчно расточительной!

Явился еще один претендент, упорно преследовавший ее

предложениями, но она на него и внимания не обращала, так как единственным его преимуществом были значительные средства. Нравственные достоинства были под общим сомнением, а его невзрачная, сутуловатая фигура еще карикатурнее выглядела рядом с ней.

Старший брат и теперь с улыбкою вспоминает, как он служил ему покорной мишенью, когда, подкараулив семейную прогулку в Летнем саду, он присоединялся к ним, и шаловливый мальчик нарочно отставал, бросая мячик и всякий раз стараясь попасть ему в спину. Мать по близорукости или занятая беседой не примечала проказу, а влюбленный терпеливо ее переносил, не смея выказать справедливого неудовольствия.

Долго старался он отуманить Наталью Николаевну соблазном роскошной жизни, но уразумев в конце концов тщетность своих надежд, оставил ее в покое и лишил тем брата излюбленного развлечения.

Я полагаю, что сама мать не подозревала о третьем случае сильной любви, которую она внушила одному из самых изящных и красивых наших дипломатов, Николаю Аркадьевичу Столыпину. Часто беседуя о трех братьях, с которыми она была хорошо знакома по сестре их, молодой княгине Вяземской, она никогда не упомянула его имени в рядах ее поклонников, и только после свадьбы моей дочери с его единственным сыном вдова Столыпина рассказала мне, как он, приехав в отпуск в Россию, при первой встрече был до того ошеломлен красотою Натальи Николаевны, что она грезилась ему и днем и ночью, и с каждым свиданием чувство его все сильнее разгоралось.

Но грозный призрак четырех детей неотступно восставал перед ним; они являлись ему помехою на избранном дипломатическом поприще, и борьба между страстью и разумом росла с каждым днем. Зная свою пылкую, увлекающуюся натуру, он понял, что ему остается только одно средство противостоять безрассудному, по его мнению, браку, – это немедленное бегство. К нему-то он и прибегнул.

Не дождавшись конца отпуска, он наскоро собрался, оставив в недоумении семью и друзей, и впоследствии, когда заходила речь о возможности побороть сильное увлечение, он не без гордости приводил свой собственный пример.

Вряд ли нашлось бы много женщин, способных отклонить богатых женихов в те самые минуты, когда стесненность в средствах назойливо проявлялась каждый день.

Ничего нет тяжелее обязанности вращаться в кругу очень богатых людей, когда каждая копейка на счету. Из гончаровских средств Наталья Николаевна ничего не получала; деньги,

выручаемые с пушкинских изданий, пошли на выкуп остальных частей Михайловского, доставшегося после Надежды Осиповны ее детям, а доходы с него были весьма скудны. Самым верным подспорьем являлась 3000 руб. пенсия, назначенная императором вдове и детям поэта.

Этого не хватало, и мелкие долги, вытекающие из жизненного обихода, тяжелым гнетом ложились на скромный бюджет и постоянно нарушали покой матери.

К этому времени относится анекдот, который так часто упоминался в семье, что с годами он даже облекся в форму поговорки, бывшей в большом употреблении между нами. Наталья Николаевна пользовалась некоторым кредитом в магазине Погребова в Гостином Дворе, и в силу этого все необходимое забиралось там. Уплата иногда затягивалась долее обыкновенного, и тогда появлялся сам хозяин, прося доложить о нем.

Горничная или няня, не желая ее беспокоить, в особенности если это совпадало с периодом острого безденежья, пытались отговорить его, доказывая, что если речь идет об уплате по счету, то это будет лишь напрасный труд, так как денег из деревни еще не выслали и неоткуда их взять.

– Не в деньгах дело, – с достоинством отвечал кредитор, – я в них не нуждаюсь, но хочу лично видеть Наталью Николаевну, чтобы от них самих узнать, чувствуют ли они мое одолжение?

Это требование являлось настолько законным, что мать немедленно принимала его, своим приветливым голосом благодарила за оказанное доверие и добродушное терпение. Под обаянием ее любезности он уходил, вполне удовлетворенный словами, до той поры, когда являлась возможность удовлетворить его деньгами.

Нас же всех так потешала оригинальность этой мысли, что часто, оказывая друг другу просимую услугу, мы прибавляли в шутку:

– Хорошо, только чувствуешь ли ты это?

Летом 1843 г.[8], когда Наталья Николаевна жила в Михайловском, она получила известие о тяжелой утрате, постигшей ее. Е. И. Загряжская, любившая ее куда больше родной матери, неожиданно скончалась, и, несмотря на близость Псковской губернии, ее не успели вызвать к смертному одру. С ней она лишилась единственной надежной опоры, осиротелость души еще болезненнее давала себя чувствовать.

По натуре нерасчетливая, чуждая практической сноровки в жизненных вопросах, в своем горе она не останавливалась на материальном значении этой смерти для ее дальнейшего

существования.

Екатерина Ивановна не раз выручала ее в тяжелые минуты и часто заявляла окружающим о своем намерении обеспечить будущность любимой племянницы, оставив ей по духовному завещанию село Степанково Московской губернии, с числящимися при нем пятьюстами душами.

Но, по свойственной престарелым людям боязни накликать смерть, она все откладывала изложить свою волю в узаконенной форме и должна была ограничиться только тем, что, умирая, чуть не со слезами умоляла сестру и единственную наследницу, графиню де Местр, исполнить ее последнее желание и тотчас же передать ее дорогой Наташе имение, ей давно уже предназначенное.

При первом свидании, – если не ошибаюсь, чуть ли не на похоронах, – Софья Ивановна, под горячим впечатлением, передала племяннице эту предсмертную беседу, заявляя полную готовность подчиниться устному распоряжению покойной.

Для Натальи Николаевны это наследство являлось целым независимым состоянием, и она свободно могла бы вздохнуть от постоянных мелких дрязг, но добрые порывы не всегда осуществляются.

Прошло несколько времени, и Наталья Николаевна была приглашена на торжественную аудиенцию к графине Софье Ивановне. Она, видимо, стеснялась говорить о происшедшей перемене в ее намерениях; совесть ее, вероятно, протестовала против несправедливого деяния и она предоставила слово графу Григорию Строганову, который холодным, напыщенным тоном объявил Наталье Николаевне, что ему удалось убедить графиню не поддаваться влечению ее доброго сердца. Было бы безрассудно доверять целое состояние такой молодой, неопытной в делах женщине; до сих пор она всегда во всем подчинялась признанному авторитету Екатерины Ивановны, служившей ей опытной руководительницей, но кто может поручиться, что с сознанием независимости в ней не пробудится жажда полной свободы?

В заключение нравоучительной проповеди объявлялось, что графиня, не оспаривая ее прав в будущем на завещанное наследство, решила в настоящем не оформлять их и сохранить имение в своих руках, а доходами распоряжаться по своему усмотрению и из них уделять Наталье Николаевне столько, сколько ей покажется нужным для ее поощрения.

Из всего высказанного последнее показалось матери самой горькой обидой.

Легко было Строганову с высоты своих миллионов относиться

к ее стесненному положению; простительно престарелой тетушке считать ее еще девочкой, несмотря на тридцатилетний возраст; но предполагать, что она способна перед ней унижаться, заискивать ее расположения ради денег, – этого не могла она снести. С необычайной для нее твердостью она ответила, что графиня вольна поступать, как ей заблагорассудится, но что она напрасно думает, что, удержав имение, она приобретет на нее большее влияние, по выражению графа, «может забрать ее в руки». Напротив, всякое желание проявить ласку, оказать предупредительность будет отныне сковано мыслью навлечь на себя подозрение в корыстной цели. Не денежную помощь ценила она в Екатерине Ивановне, а ту материнскую заботу, которой она постоянно ее окружала. И столько было искренности, горячего чувства к ее отповеди, что, хотя они и не отступили от намеченного плана, но нравственная победа осталась не за седовласыми богачами, а за обездоленной ими молодой женщиной.

Несмотря на все лишения, усугубившиеся за последний год ее вдовства, она никогда не упрекала тетку в несправедливости и корысти и убежденно повторяла, что, не вмешайся граф Строганов со своими советами и внушениями, она не преминула бы исполнить последнюю волю умершей сестры.

В этом же году, в весьма близком расстоянии от Екатерины Ивановны, скончалась также Екатерина Николаевна Геккерен, в Альзасе, в замке Soultz, принадлежащем ее мужу.

Хотя, как выше уже было сказано, смерть Пушкина прервала всякие отношения между сестрами, – от других членов семьи я узнала, что тревожное предчувствие Натальи Николаевны относительно супружеского счастья сестры сбылось. Разочарование в надеждах и ревниво гложущее горе, подтачивая организм, преждевременно свели ее в могилу.

Она привязалась к мужу с беззаветной страстью и годами убеждалась, что ничто не в силах победить его равнодушие и холодность. Она была готова пожертвовать жизнью, чтобы изгладить роковое прошлое, и болезненно чувствовала, что сама служит неразрывным звеном с далекой, но незабвенной соперницей.

У нее одна за другой родились три дочери, своим появлением на свет нанося ей тяжелый удар. Она знала, что муж жаждет иметь сына, и хваталась за эту мечту, как за последнее средство вызвать в нем искру благодарной любви.

Экзальтированный склад ума приготовлял в ней благоприятную почву для католической пропаганды. Искусный аббат улавливал страждущую душу для царства небесного земной

приманкой. Он настойчиво твердил ей, что Мадонна сжалится над ней, прекратит ее душевные муки, даруя сына, но необходимо отречься от еретических верований: тогда она заслужит любовь мужа и в единой истинной римской церкви обретет счастье и покой.

При первых признаках ее четвертой беременности, жители Soultz с удивлением смотрели как чужеземная госпожа с босыми ногами отправлялась в отдаленную капеллу и, слезно молясь перед изображением Божьей Матери, строго исполняла положенные neuvain[9].

Рождение долго желанного сына Georges ярким проблеском счастья озарило ее сосчитанные дни. Она сдержала данный обет, готовая сейчас отречься от православной веры, но римская курия слишком дорожила своими победами, чтобы не обставлять их как можно пышнее, и клерикальные газеты уже поспешили оповестить об ожидаемом переходе баронессы Геккерен в католицизм, имеющем совершиться в Париже, в аристократическом приходе St. Madeleine. Торжеству этому не суждено было совершиться: религиозная нетерпимость престарелой матери была пощажена: Екатерина Николаевна не дожила до назначенного дня.

Болезнь послеродового периода сразила ее в короткий срок, и она скончалась как бы на рубеже двух враждующих религий. Впрочем, похороны ее состоялись в Soultz по католическому обряду.

Из трех сестер Гончаровых, так строго воспитанных в православном духе, одна только Наталья Николаевна сохранила ненарушимо до смерти внушенные заветы и прилагала все старания привить их своим детям.

По оригинальному совпадению кончина баронессы Фризенгоф[10] имела черты, схожие с вышеприведенным.

Уже в сорокалетнем возрасте выйдя замуж за австрийца и поселившись в Вене, она не только оставалась верна своей религии, но даже настояла, чтобы ее единственная дочь была крещена в православии. Существование там русской церкви давало ей возможность удовлетворять свои духовные потребности.

Так продолжалось более двадцати лет.

Затем ее дочь была помолвлена за брата владетельного герцога Ольденбургского, Элимара, но, ввиду противодействия его семьи и родства с нашим Императорским Домом, отец Раевский, не желая навлекать на себя неприятностей, категорически отказался венчать их сам и даже не допустил брака в посольской церкви.

Свадьба тем не менее состоялась там же, но в греческой.

Этого поступка было достаточно, чтобы тетушка с ним рассорилась навек и порвала всякие сношения с русским причтом.

Первое время она еще посещала греческую церковь, но служба на непонятном языке тяготила ее; года сказывались усталостью, повлекшей за собою нерадение к службам, и мало-помалу она дошла до полного отпадения от православия. В редких случаях она присутствовала при лютеранском богослужении и, дожив до весьма преклонного возраста, скончалась настоящей никудышницей, по типичному выражению русских сектантов.

Смерть застигла ее в Brodyan, в Венгрии, в имении, доставшемся ее дочери, и схоронили ее там по лютеранскому обряду в семейной каплице.

* * *

В начале зимы 1844 года состоялось первое знакомство моего отца с Натальей Николаевной Пушкиной. За год перед тем он перенес сильное душевное потрясение. Легкомысленная измена женщины, которой он безраздельно посвятил лучшие годы молодости, так сразила его, что он подвергся долгой, изнурительной болезни, и только самоотверженный уход младшей сестры спас его от грозящей смерти.

Доктора отправили его на воды за границу, и, отдыхая от сложного лечения, он провел всю осень в Баден-Бадене, где близко сошелся с Иваном Николаевичем Гончаровым и женою его, урожденной княжною Мещерской. Отпуск его кончался, и, узнав, что он едет прямо в Петербург, они попросили его доставить письмо и посылку находящейся там сестре.

Это и послужило поводом к первому визиту. Мать была особенно дружна с этим братом; с живым интересом расспрашивала о нем, о их совместной жизни; тема оказалась благодарной. Отец, вопреки свойственной ему молчаливости, разговорился о заграничных впечатлениях и не приметил даже, как быстро прошло время. Откланиваясь, он, в знак благодарности за оказанную услугу, получил радушное приглашение бывать у Натальи Николаевны и, конечно, воспользовался им.

В течение зимы посещения эти все учащались, и с каждым разом он все более и более испытывал ее чарующее обаяние. В сердце, иссушенном отвергнутой страстью, незаметно всходили

новые побеги, пробуждалась жажда другого, тихого счастья. И невольно вспоминались тогда слова женщины, влияния которой даже и разрыв не мог уничтожить: «Avec la sentimentalité de votre esprit et la fdélité de votre attachement qui rivalise avec le lierre, il n'y a qu'une femme au monde capable de faire votre bonheur, c'est – Nathalie Pouchkine, et c'est bien celle que vous devriez épouser!» («С сентиментальностью вашего ума и верностью привязанностей, соперничающей с плющом, во всем мире существует только одна женщина, способная составить ваше счастье – это Наталья Пушкина, и на ней-то вам следовало бы жениться!»)

Благодаря подобным размышлениям мысль о браке незаметно вкралась в голову закоренелого холостяка.

Ему тогда только что исполнилось сорок пять лет (он оказался на три месяца старше Пушкина), и, конечно, не с легкомыслием увлекающегося юноши мог он решиться на такой важный шаг.

Личное состояние отца было очень незначительно, но это был аккуратный по природе человек, с весьма скромными потребностями, и доходов хватало с избытком на его холостую жизнь. Обзавестись разом многочисленной семьей являлось задачей, спугнувшей предшествовавших женихов, и сам он призадумался над ней, опасаясь осложнений и тревог в будущем.

Пробудившаяся любовь все громче заявляла свои права, внутренний голос настойчиво твердил: ты обрел свое счастье, не упускай его!

А время все шло, наступила весна.

Наталье Николаевне советовали повезти детей на морские купанья, и, соблазнившись пребыванием четы Вяземских в Гельсингфорсе, она сговорилась с ними туда поехать.

Все приготовления были уже сделаны, день отъезда назначен, даже билеты на всю семью заблаговременно взяты в мальпосте.

Отец пришел к заключению, что эта разлука послужит ему на пользу. Вдали от обворожительной красавицы ему легче будет обсудить положение и хладнокровно взвесить шансы pro и contra предполагаемого шага. Если, – размышлял он, – за три-четыре месяца чувство его только сильнее разовьется, то никакие преграды его не остановят и он уже обдуманно и сознательно решит свою судьбу.

Пустой случай, в котором он не преминул узнать Промысел Божий, всегда ему покровительствовавший, мгновенно разбил все доводы рассудка и привел его к неожиданному, но желанному концу, за который он не переставал благословлять Провидение до последней минуты своей долгой жизни.

За два дня до отъезда Наталья Николаевна, лежа на кушетке,

читала книгу, и одна из ее ног от неудобного положения онемела.

Старший сын тем временем брал последний урок. Гувернантка, вручая возвращенные учителем cachet[11], бывшие тогда в общем употреблении, просила денег для уплаты по ним.

Мать, не отдавая себе отчета в происшедшем, поспешно встала, и нога у нее так несчастно подвернулась, что она упала от острой боли с вырвавшимся криком. Пришлось поднять ее с посторонней помощью, призванный доктор констатировал вывих щиколотки и предписал лежачее положение и безусловный отдых на несколько недель.

Путешествие пришлось отложить. Знакомые разъехались. Отец чуть не ежедневно стал навещать одинокую больную. Он имел основание ожидать скорого назначения командиром армейского полка в каком-нибудь захолустье, что могло бы сильно осложнить воспитание детей Пушкиных, как вдруг ему выпало негаданное, можно даже сказать, необычайное счастье.

Особым знаком Царской милости явилось его назначение прямо из свиты командиром лейб-гвардии Конного полка, шефом которого состоял Государь, питая к нему особое благоволение.

Обширная казенная квартира, упроченная блестящая карьера расширяли его горизонт и, не откладывая дольше, он сделал предложение.

Пушкинское видение исполнилось! С тихой радостью окончила Наталья Николаевна свое одинокое скитание, почуяв себя у верной, спокойной пристани. С полным доверием поручила она честной, благородной душе участь своих детей, для которых ее избранник неизменно был опытным руководителем, любящим другом. Слово «отец» нераздельно осталось за отшедшим.

«Петр Петрович» – был он для них прежде, таким и остался навек. Но вряд ли найдутся между отцами многие, которые бы всегда проявляли такое снисходительное терпение, которые так беспристрастно делили бы ласки и заботы между своими и жениными детьми. Лучшей наградой исполненного долга служило ему сознание тесного, неразрывного союза, сплотившего нас всех семерых в одну любящую, горячо друг другу преданную семью.

Когда отец явился к государю с просьбой о дозволении ему жениться, Николай Павлович ответил ему:

– Искренне поздравляю тебя и от души радуюсь твоему выбору! Лучшего ты не мог бы сделать. Что она красавица, это всякий знает, но ты сумел оценить в ней честную и прямую женщину. Вы оба достойны счастья, и Бог пошлет вам его. Передай своей невесте, что я непременно хочу быть у нее посаженым отцом и сам благословить **ее** на новую жизнь.

16 июля 1844 года, после полудня, скромный кортеж направлялся пешком в приходскую церковь Стрельны, – летней стоянки Конного полка.

Несмотря на так ясно выраженное желание Царя, мать уклонилась от этой чести. Она не скрывала от себя, что ее второе замужество породит много толков и осуждений, что ей не простят, что она сложила с себя столь прославленное имя, и хотя присутствие государя, осеняя ее решение могучим покровительством, связало бы не один ядовитый язычок, она предпочла безоружною выйти на суд общественного мнения и настояла, чтобы свадьба состоялась самым незаметным, тихим образом.

Почти никто не знал о назначенном дне, и кроме самых близких, братьев и сестер с обеих сторон, не было ни одного приглашенного. Невеста вошла в церковь под руку с женихом, более чем когда-либо пленяя своим кротким видом и просветленной красотой.

Комический эпизод, часто вспоминаемый впоследствии, нарушил, однако же, сосредоточенное внимание присутствующих, едва не вызвав переполох.

Молодой граф, впоследствии князь, Николай Алексеевич Орлов, состоявший в то время закорпусным камер-пажом, очень был заинтересован свадьбою своего будущего командира со вдовою Пушкина и тщетно старался проникнуть в церковь, строго охраняемую от посторонних. Но препятствия только раздражали его любопытство и, надеясь хоть что-нибудь да разглядеть сверху, он забрался на колокольню. Как это случилось, я объяснить не берусь, но в самую торжественную минуту он задел за большой колокол, раздался громкий удар, а Орлов с испугу и растерянности не знал, как остановить предательский звон.

Когда дело объяснилось, он, страшно сконфуженный, извинился перед новобрачными, и это оригинальное знакомство с моей матерью послужило первым звеном той дружеской близости со всей нашей семьей, которая не прекращалась до той поры, когда служебная деятельность удалила его из России.

На другой день отец отправился в Петергоф с щекотливой миссией – доложить государю о совершившейся свадьбе и о причинах, побудивших жену отказаться от выпадавшей ей на долю высокой милости.

При всей благосклонности царя он чувствовал, что сердце было у него не на месте. Как отнесется государь к подобному своевольному поступку?

От зоркого глаза Николая Павловича не ускользнуло его смущение. С первых слов извинения он ласково остановил его:

– Cela suft! Je comprends et j'approuve les scrupules qui font honneur à la délicatesse de son âme (Довольно! Я понимаю и одобряю те соображения, которые делают честь чуткости ее души.) На другой раз предупреждаю, что от кумовства так легко не отделаетесь. Я хочу и буду крестить твоего первого ребенка.

Вслед за тем царский посланный привез матери бриллиантовый фермуар, как предназначенный ей свадебный подарок, а почти год спустя, 16 июня 1845 года, государь лично приехал в Стрельну. Приняв меня от купели, он отнес матери здоровую, крепкую девочку и, передавая ее с рук на руки, шутливо заметил:

– Жаль только одно – не кирасир!

VIII

Для лиц, интересующихся дальнейшей судьбою матери, я могу добавить весьма немногое, почерпнутое из собственных воспоминаний.

Недаром сложился французский афоризм: les peuples heureux n'ont pas d'histoire (у счастливых народов нет истории).

Жизнь ее, вступив в обыденную колею, не заключала выдающихся событий.

Первые годы тяжелый и даже сварливый характер сестры ее, Александры Николаевны, часто нарушал безмятежный покой ее семейного счастья. Она обладала чертою, свойственной многим членам ее рода, – чертою, прозванной нами le sang Gontcharof (гончаровская кровь), и заключающейся в том, что без всякого повода они вдруг возненавидят кого-нибудь и начинают его преследовать.

Тогда, что бы эта обреченная личность ни предпринимала, как ни пыталась бы им угождать, все неизменно оборачивается ей в вину, ставится ей в укор.

Такое-то чувство стала питать тетушка к моему отцу.

Привыкшая никогда не разлучаться с матерью, она мучила ее своею ревностью, за которой, может быть, таилось чувство зависти: ее сестра нашла себе двух мужей, в то время как она сама как будто была обречена на несносную для нее судьбу старой девы.

Живя в доме зятя, она чуждалась его общества, обращалась с ним сухо и свысока и днями сидела у себя в комнате, требуя, чтобы мать не оставляла ее в одиночестве. Доходило до того, что мать никогда не решалась ни прогуляться, ни прокатиться вдвоем с мужем, чтобы не навлечь на себя сестрин гнев. Но что для нее

еще прискорбнее было – это попытка Александры Николаевны злоупотреблять своим влиянием на детей, чтобы восстановить их против отчима.

Все его поступки объяснялись в превратном смысле; она подговаривала детей на любезность или внимание отвечать колкостью или резким отказом. Братья, проводившие большую часть времени в учебных заведениях, не поддавались ее науськиваньям и сразу оценили доброту и справедливость отчима, но самую благоприятную почву она нашла в старшей сестре, которая отлично знала, что всякая ее выходка против отчима получит немедленно поощрение.

Не успела тетушка покинуть дом, как сестра мгновенно прозрела, и теперь еще, вспоминая это далеко уплывшее время, свой юношеский задор, она не может надивиться невозмутимому терпению моего отца и часто говорит:

«Будь я на его месте, как бы я злилась, как я сумела бы расправиться за ежедневные дерзости с моей стороны!»

Но ему был только дорог покой его обожаемой Наташи, и не было жертв, которые он бы не принес в угоду ей.

Тетушка со своей стороны искренне любила мать, но как-то по-своему: эгоизм преобладал в ней. Она считала лишним бороться со своими враждебными чувствами, закрывая глаза на тот духовный разлад, который она насаждала в ее обиходе. Она принимала ее угодливость, ее постоянные уступки как нечто должное и вполне естественное. Лет десять после ее замужества, когда сестра Наталья Александровна гостила у ней в Венгрии, она, беседуя с ней о прошлом, добродушно заявила: «Tu sais, il y a déjà longtemps que j'ai tout pardonné à Lanskoy» («Ты знаешь, я уже давно все простила Ланскому»).

Та хорошо помнила, как она ему систематически отравляла жизнь, и только молча усмехнулась этому наивному великодушию.

Если я упомянула о семейной неурядице, тянувшейся около семи лет, то единственно, чтобы подчеркнуть кротость, отличавшую натуру матери.

Обыкновенно не легка жизнь родственницы, даже близкой, приютившейся из милости у чужого очага, – тут как раз было наоборот: «угнетенная» властвует, хозяйка подчиняется.

Со свадьбой и отъездом тетушки в доме водворился ненарушимый мир и безмятежное спокойствие. Матери стало все улыбаться в жизни, но не на долгий срок.

Постоянная царская милость служила лучшей эгидой против затаенной злобы завистливых врагов. Те самые люди, которые беспощадно клеймили ее и оскорбительно поворачивались

спиною во время вдовства, заискивающим образом любезничали, напрашивались на приглашения, – в особенности, когда в городе стало известно, как сам царь назвался к отцу на бал.

Этот эпизод ярко восстает в моей детской памяти.

В то время когда старшая сестра уже выезжала в свет, великие князья Николай и Михаил Николаевичи были прикомандированы для изучения службы к Конному полку. Желая повеселиться, они намекнули, что не худо бы было воспользоваться обширным залом, чтобы потанцевать.

Это навело мать на мысль устроить вечеринку в полковом интимном кругу.

Каково же было ее удивление, когда отец, возвратившись от доклада у царя, взволнованно передал ей, что по окончании аудиенции Николай Павлович сказал ему:

– Я слышал, что у тебя собираются танцевать? Надеюсь, что ты своего шефа не обойдешь приглашением.

Трудно себе представить хлопоты, закипевшие в доме. Надо было принять государя с подобающей торжественностью, так как в ту пору редко кто из министров или высших сановников удостаивался подобной чести. Мне было тогда семь лет, и я с лихорадочным любопытством носилась по комнатам, следя за приготовлениями. Всю в слезах, еле-еле удалось моей старой няне уложить меня в постель. Я находила просто жестоким, что хоть из-за опущенной портьеры мне не хотят позволить взглянуть на крестного отца.

Я далека была от предчувствия, что судьба готовит мне блестящее вознаграждение.

Государь, прибыв в назначенный час, в разговоре с матерью осведомился, как поживает его крестница, и она рассказала ему о моем детском горе, что мне не довелось его увидеть.

– Узнайте, спит ли она? Если нет, то я сейчас пойду к ней.

Мать поспешно вбежала в детскую, застала меня с возбужденным лицом, прислушивающейся к долетавшим звукам оркестра, зажгла свечу у теплившейся лампады и, радостно промолвив: «Царь к тебе идет», – скрылась метеором.

Более полвека прошло с тех пор, и я как сегодня помню трепетное биение моего сердца, детский восторг, охвативший мой ум! Не успел высокий силуэт государя появиться на пороге, как я быстрым, непредвиденным нянею, движением вскочила на постель и с самым сосредоточенным видом голыми ногами изобразила глубокий реверанс, наподобие подмеченных мною на улице, когда дамы низко приседали при встрече с царем.

Государь неудержимо рассмеялся моей комической фигурке, взял меня на руки и расцеловал в обе щеки. Он ласково

поговорил со мною, но что он мне сказал, – я не помню.

Я вся обратилась в зрение и впилась в него глазами, зато он и теперь как живой сохранился в моем воображении.

По его уходе няня, укладывая, стала выговаривать мне, что я должна была бы спокойно лежать, а не вести себя непристойно, но я свысока отрезала, что она ничего не смыслит в придворном этикете.

Однако же на другой день, когда старшие сестры подняли меня на смешки, я мало-помалу утратила веру в свою оценку светских приличий и, когда меня стали систематически изводить фразой: «Расскажи-ка, Азинка, как по этикету ты показала царю свои голые коленки», я уже сознавала свою провинность и сконфуженно опускала голову.

Нравственное затишье продолжалось для матери вплоть до несчастного брака сестры Таши с Михаилом Леонтьевичем Дубельтом. Так как она еще в живых, то неуместным считаю оглашать подробности этой грустной истории. Ограничусь только замечанием, что хотя невеста насчитывала только шестнадцать лет, характер ее настолько сложился, что она сознательно приняла это решение.

Отец мой недолюбливал Дубельта. Его сдержанный, рассудительный характер не мирился с необузданным нравом, со страстным темпераментом игрока, который жених и не пытался скрыть. Будь Таша родная дочь, отец никогда не дал бы своего согласия, ясно предвидя горькие последствия, но тут он мог только ограничиться советом и предостережениями.

Между помолвленными не раз возникали недоразумения, доходившие до ссор и размолвок; мать смущалась ими, страдала опасением за будущее, приходила сама к сознанию необходимости разрыва, отбрасывая всякий страх перед суровым qu'en dira-t-on (Что об этом скажут?), так как тогда куда строже относились к расстроенным свадьбам, но сестра противилась этому исходу, не соглашаясь взять обратно данное слово.

Надо еще прибавить, что мать поддавалась влиянию Дубельта, человека выдающегося ума, соединенного с замечательным красноречием. Он клялся ей в безумной любви к невесте и в твердом намерении составить ее счастье, и она верила в его искренность, а зрелость возраста (он на тринадцать лет был старше сестры) внушала ей убеждение, что он сумеет стать ей опытным руководителем.

В постоянной борьбе надежд и сомнений, разнородных влияний и наплывавших чувств, прошло время этой оригинальной помолвки. Наконец свадьба состоялась, и почти с первых дней обнаружившийся разлад загубил навек душевный

покой матери.

Как часто, обсуждая этот роковой вопрос, равно как и все обстоятельства, его сопровождавшие, мы, уже умудренные опытом жизни, приходили к единодушному заключению, что единственный упрек, который мать могла себе сделать, состоял в том, что она не проявила достаточно силы воли и допустила совершение брака!

Но я уже объяснила, что отличительной ее чертой было не только сознавать свою вину, но всегда ее преувеличивать и прямо терзаться выпадавшей на ее долю ответственностью. Это произошло и в данном случае.

Она горько стала себя упрекать, что не сумела оберечь счастье дочери, что ослепленная внешним блеском, она бессознательно натолкнула ее связать свою судьбу с человеком, которого она не любила, и в каждой бурной сцене, постоянно между ними возникавшей, она являлась куда более, чем сама жена, страдающим лицом.

Конечно, нет мысли более мучительной для материнского любящего сердца, и это сокрушенное сознание, с развитием семейной драмы, с каждым годом сильнее укоренялось в ней. Когда, наконец, летом 1862 года произошел окончательный разрыв и сестра с тремя малолетними детьми оказалась одинокой, без куска хлеба, скорбь ее достигла апогея и, непосильная изнуренному организму, много способствовала ее преждевременной кончине.

В материальном отношении мать, бесспорно, родилась под какой-то зловещей звездою. Незадолго до брака сестры возникла строгановская история с пресловутым наследством Екатерины Ивановны Загряжской. Щедрые намерения графини де Местр не преминули обратиться в камни, которыми, по поговорке, вымощен ад.

Понятно, что, вышедши замуж, мать уже не нуждалась в ее денежной поддержке, и старушка считала, что она вполне исполняет волю умершей, на каждый праздник даря матери и сестрам какие-нибудь материи, из которых обязательно было тотчас сшить платье и явиться в обновке на первый из ее дипломатических обедов.

Кухня ее славилась на весь Петербург, и на изысканный стол она никаких расходов не жалела. К подаркам эта система не применялась, но взамен она изобрела для них доморощенную наивную рекламу.

Всякий раз, что к ней приезжали в подаренной вещи, она внимательно оглядывала в лорнет с ног до головы и неизменно спрашивала:

– Comme c’est joli! Où avez-vous trouvé cela?[12]

– Mais c’est votre cadeau, ma tante, ne le reconnaissez-vous pas?[13]

– En vérite? je suis si distraite! Cela n’est pas pour me vanter, mais c’est bien joli quand même![14]

И все добросовестно разыгрывали подобные сценки раза три-четыре в год.

Графиня де Местр скончалась в 1851 году летом, во время пребывания матери за границей, куда она отправилась для лечения на водах старшей сестры.

Она оставила духовное завещание, в котором пожизненное пользование ее состоянием предоставлялось ее мужу, дожившему уже до 90 лет, а по его смерти, минуя сыновей сестры ее Натальи Ивановны, доставалось целиком дальнейшему племяннику, графу Сергею Григорьевичу Строганову. Ему же вменялось в обязанность выдать Наталье Николаевне Ланской московское имение, завещанное ей еще Екатериной Ивановной, и выплатить разные суммы поименованным в завещании лицам. Всего как долгов, так и обязательств насчитывалось сто с чем-то тысяч.

Граф де Местр пережил ее менее года и, переехав на лето к моей матери, тихо скончался на даче, в Стрельне.

Через несколько времени, когда граф Строганов вступил в свои права, к великому недоумению матери и еще сильнейшему негодованию, прежде чем передать завещанное имение, потребовал с нее уплаты половины причитающихся долгов, считая ее сонаследницей, но преднамеренно упуская из виду, что его львиная часть превосходит выдаваемую чуть ли не в десять раз.

В моей детской памяти так и запечатлелись термины legataire[15] и даже вдвойне, как настаивала упорно мать, и coheritiere[16], как властно доказывал Строганов. Термины эти порождали нескончаемые споры и колкую переписку.

Дело затягивалось.

Мать, наконец, объявила, что скорее откажется от наследства, чем согласится на поставленное условие. Оно было для нее прямо неисполнимо при отсутствии личных средств и отказа в пользу дочерей причитающейся ей вдовьей части.

Тем временем братья Гончаровы надумали затеять процесс со Строгановым, рассчитывая его выиграть на основании оплошно выраженной фразы. Графиня де Местр завещала ему все состояние, полученное от отца, а на деле оказывалось, что все ее имения достались от дяди и сестры, так как отец умер вполне разоренным, что вовсе не трудно было доказать.

Граф Строганов, взвесив шансы противников, объявил им

откровенно, что закон, может быть, окажется на их стороне, но при судебной волоките (это происходило до реформы суда) им очень тяжела окажется тяжба с ним, и потому он им предлагает сто тысяч отступного, но никак не иначе, как если им удастся склонить сестру подчиниться его решению.

Мать долго и упорно отказывала.

Отец предоставлял ей полное распоряжение доходами, оставляя себе безделицу для личных нужд, но именно ввиду этого доверия и деликатности ее прельщала мысль о достижимой независимости, и чересчур было обидно из-за разных ухищрений дважды лишиться выпавшего наследства.

Я хорошо помню, как наконец она сдалась на горячие просьбы братьев, которых устраивало получение обещанных капиталов, и им в угоду она решилась пожертвовать своим самолюбием.

Отец внес графу Строганову пятьдесят пять тысяч, требуемые им, но, по настоянию матери, была совершена на его имя купчая на эти 500 душ крестьян, и так как это случилось незадолго до уничтожения крепостного права, то это оказалось даже не особенно выгодным предприятием. Она же с этой минуты порвала всякие сношения с семьей Строгановых, тем более что старый граф, к справедливости которого она тщетно взывала, как посвященного в обстоятельства дела, уже раз отстранивший ее, оказался солидарным с сыном. Исключение составил только граф Григорий Александрович, как непричастный всему делу и сохранивший к ней прежнюю беспристрастную дружбу.

Смерть императора Николая Павловича случилась в самый разгар этих денежных дрязг и своей неожиданностью нанесла ей вдвойне тяжелый удар. Отец приехал из Зимнего дворца и при мне сообщил ей скорбную весть. Побледневшее лицо словно окаменело под наплывом горя. Неутешно оплакивала она Царя-Благодетеля, собирая, как драгоценные реликвии, все, что относилось к нему.

В ее заветной шкатулке хранятся у меня посейчас два его автографа, цветы с гроба, поношенный темляк и платок с его вензелем.

Теплое участие, сошедшее на нее с высоты Престола в самую ужасную минуту ее жизни, неизменная доброта и поддержка, проявляемая ей и детям, создали в благодарном сердце тот благоговейный культ, который теплился в ней до последней минуты и ярко вспыхивал, как только доводилось произнести имя усопшего царя.

В августе этого зловещего 1854 года, в бытность нашу в Петергофе, отец заболел холерою, сильно свирепствовавшей в

Петербурге и окрестностях.

С беззаветным самоотвержением мать ходила за ним, не отходя от постели больного, и ей удалось вырвать его из цепких рук витавшей над ним смерти.

Не успел он еще вполне оправиться и набраться сил, как получил приказание, по должности генерал-адъютанта, отправиться в Вятку для сформирования местного ополчения. Россия стягивала в Крым последний оплот в борьбе с наседающим врагом.

Относительно службы отец не признавал отговорок; он немедленно собрался в далекий тяжелый путь. Железной дороги, кроме Николаевской, не было; осень уже наступала.

Мать не могла решиться отпустить его одного и, несмотря на пережитое волнение и усталость, на общее недомогание, изредка уже проявлявшееся во всем организме, она храбро предприняла это путешествие. В этом случае, как и всегда, она не изменила своему правилу: никогда не думать о себе, когда дело коснется блага и удобства близких.

Уступая желанию сестры Маши, нас троих, еще маленьких девочек, отправили с ней, с нашей гувернанткою и неразлучною няней к сестре Таше в Немиров, Житомирской губернии, где муж ее квартировал по должности начальника штаба.

Жгучей болью отозвалась в моем сердце эта первая разлука с матерью, и разнообразие впечатлений из окон громадной колымаги, смутно смахивавшей в моей памяти на Ноев ковчег, не скоро разогнало охватившую меня детскую грусть.

Курьезно было бы описать это путешествие. В сравнении с всюду введенным теперь комфортом многим показалось бы оно баснословным, но здесь это не у места.

Одно только знаю, что брезгливое чувство, с которым я всю жизнь относилась ко всякого рода передвижениям, несомненно запало во мне в эту отдаленную эпоху Крымской войны.

Вятка являлась прототипом провинциального захолустья, по своей отдаленности служившего надежным местом ссылки. Приезд генерал-адъютанта казался таким великим событием, что их чуть не с колокольным звоном встречали.

Местный кружок, состоящий из служебного персонала и богатых купцов, приготовился увидеть в лице матери важную, напыщенную светскую даму и долго не мог прийти в себя от простоты ее, от доброты и отзывчивости, сквозившей в каждом слове, в каждом жесте.

Она, в свою очередь, возвращаясь в Петербург, увезла самую теплую память о своих «вятских друзьях», которые без всякого стеснения прибегали к ней, когда требовалась какая-нибудь

услуга в далекой столице.

И с каким усердием принималась она хлопотать то о помещении девочки в институт, то об определении на службу, то о выслуженной пенсии, то о смягчении наказания!

Долго благодатная память о знакомстве с ней сохранялась в том дальнем крае.

Между прочим, ей удалось оказать большую услугу Салтыкову-Щедрину, он был сослан в Вятку за свое сочинение «Запутанное дело». Нрава неуживчивого, он стал во враждебные отношения с окружающим обществом и жил отшельником, прямо изнывая от скуки и тоски.

Мать с ним познакомилась; сначала он чуждался ее, но искреннее участие покорило его гордость. Ей было так жаль его загубленной молодости, той творческой силы, которая могла заглохнуть в неподходящей среде, что она приложила все старания подбодрить его нравственно надеждою на близкую, лучшую будущность. Расставаясь, она завещала ему не унывать, а по приезде в Петербург принялась преследовать своими просьбами двоюродного брата отца, Сергея Степановича Ланского, занимавшего пост министра внутренних дел, пока не достигла очень скоро помилования Салтыкова.

IX

Отцу пришлось довести сформированное в Вятке ополчение только до Казани, так как там было получено известие о подписании мира[17] и приказ о распущении по домам.

Года проходили с пестрой вереницей забот и радостей. Чуть ли не последним счастливым событием для матери была свадьба старшего брата Александра с племянницей отца Софьей Александровной Ланской. Мать была всегда одинаково добра и ласкова со всеми детьми, и трудно было отметить фаворитизм в ее отношениях. Однако же все как-то полагали, что сердце ее особенно лежит к нему. Правда, что и он, в свою очередь, проявлял к ней редкую нежность, и она часто с гордостью заявляла, что таким добрым сыном можно похвалиться.

Соня была круглая сирота; мать знала ее с самого детства, изучила ее тихий, кроткий нрав, те сердечные задатки, из которых вырабатывается редкая жена и примерная мать, подозревала даже ту сильную привязанность к брату, которую она тщательно от всех скрывала и ради которой отвергала партии выгоднее и блестящее его… Одним словом, этот брак являлся для матери исполнением заветной мечты, но ни единым намеком она

не навела брата на эту мысль, постоянно мучаясь своей опрометчивостью в грустном выборе дочери.

Она страшилась даже косвенно повлиять на него, и можно себе представить ее радостное изумление, когда он неожиданно пришел просить ее согласия!

Но и тут для нее не обошлось без мучительной тревоги.

Дней за десять до свадьбы явился священник Конного полка, в котором брат служил, и объявил, что он отказывается совершить брак из-за родственных отношений, потому что такой брак против канонических правил.

Никто в семье даже не подумал о подобном затруднении и в первую минуту это сочли взбалмошной придиркой. Мать тотчас же поехала к своему духовнику, протопресвитеру Бажанову, и вернулась страшно расстроенная. Он подтвердил ей, что это правило установлено вселенским собором, и сам митрополит не властен дать разрешения. Жених и невеста были как громом поражены. Оставался один исход – прибегнуть к власти Царя, воззвать к его состраданию и милосердию.

Мать так и поступила.

Ей представился случай лично изложить императору Александру Николаевичу историю этой юной, пылкой любви, изобразить разбитое сердце невесты на самом пороге желанного счастья, и он отнесся сочувственно к обрушившемуся на них удару. Прокурору Св. Синода графу Толстому было высочайше поручено уладить это дело.

Он уговорил митрополита дать благословение священнику, который согласится совершить недозволенный брак.

Конногвардейский священник, несмотря на этот компромисс, упорствовал в своем отказе, но отец Никольский, законоучитель Пажеского корпуса, снисходительно отнесся к положению своего бывшего ученика.

Когда отец Никольский явился к митрополиту, он его к себе не допустил, а ограничился тем, что осенил его благословением на пороге, считая, вероятно, что он этим умаляет грех, в угоду Царя принимаемый им на душу.

Год с небольшим после женитьбы брата вышла замуж и старшая сестра Маша за его товарища по полку, Леонида Николаевича Гартунга, впоследствии так трагически покончившего с собой в здании московского суда.

Это был благородный и честнейший человек, ставший жертвою новых веяний. Невинная кровь его обрызгала позорную, холодную жестокость тех, кто лицеприятно подтасовывали факты, чтобы, в партийной цели, посадить его на скамью подсудимых.

К счастью матери, она не дожила до этого кровавого эпизода.

Здоровье ее медленно, но постоянно разрушалось. Она страдала мучительным кашлем, который утихал с наступлением лета, но с каждой весною возвращался с удвоенным упорством, точно наверстывая невольную передышку.

Никакие лекарства не помогали, по целым ночам она не смыкала глаз, так как в лежачем положении приступы учащались, и она мне еще теперь мерещится, неподвижно прислоненная к высоким подушкам, обеими руками поддерживающая усталую, изможденную голову. Только к утру она забывалась коротким лихорадочным сном.

Последнюю проведенную в России зиму 1861 года она подчинилась приговору докторов и с наступлением первых холодов заперлась в комнатах.

Но и этот тяжелый режим не улучшил положения.

К физическому недугу присоединилось моральное напряжение, с которым вся Россия ожидала день 19 февраля. Мать, твердо уверовавшая в предвидение Пушкина, убеждена была, что не обойдется без революции и резни на улицах.

В томительной тревоге прошла предшествующая ночь и часы, сопровождавшие обнародование манифеста, и затем с недоумением пришлось сознаться, что это мировое событие ничем не нарушило покоя столицы и обыденного строя жизни.

На меня лично этот резкий перелом не произвел впечатления. Все злоупотребления и ужасы крепостного быта лишь отдаленным эхом достигали до детского слуха, и я только потом постигла их из книг.

Крестьяне отца все были на оброке, а из крепостных служащие в доме являлись основой патриархального быта, не словом, а делом вылившегося ходячим определением: «Вы наши отцы, а мы ваши дети». Не только не применялись какие-либо наказания, но я не могу припомнить, чтобы мать возвысила голос на кого-нибудь из слуг.

Лучшей иллюстрацией справедливости моих утверждений может служить отношение к эмансипации нашей старой няни, отроду не разлучавшейся с матерью, которой и была дана в приданое.

Старших братьев и сестер занимало дразнить ее, приходя по очереди поздравлять с только что дарованной свободой.

– Отстаньте вы от меня! – ворчала она на них. – И кому только это на ум взбрело? Ну, что мне с вашей волей? Куда я с ней денусь, коли маменька меня в доме держать не захочет? И статочное ли это дело людей без всяких бар оставить? Вот лишний раз и вспомянешь батюшку Николая Павловича, Царство ему небесное! Остался он бы живым, никогда бы этого не

допустил.

Продолжительное зимнее заточение до такой степени изнурило мать, что созванные на консилиум доктора признали необходимым отъезд за границу, предписывая сложное лечение на водах, а затем пребывание на всю зиму в теплом климате.

Отец не задумался подать просьбу об увольнении от командования первой гвардейской кавалерийской дивизией, передал управление делами своему брату и, получив одиннадцатимесячный отпуск, увез в конце мая всю семью за границу.

В Швальбах мать прибыла такою слабою, что она еле-еле могла дотащиться до источника. Она провела там несколько недель с нами тремя, так как отец воспользовался близостью Висбадена, чтобы брать ванны от ревматизма, а гувернантка уехала лечиться в Дрезден.

Не в правилах матери было доверять нас чужому надзору и в особенности меня, так как живость характера и пылкость воображения всегда служили опасением, чтобы я чем-нибудь не нарушила строгость приличия. Между нами было условлено, что в обществе, если она приметит, что я слишком чем или кем-нибудь увлекаюсь, она только наведет на меня лорнет и пристально взглянет.

Я же должна моментально задать себе вопрос: Suis-je assez calme? (Достаточно ли я спокойна?) – и держаться соответственно собственному сознанию.

Как часто в жизни приходилось моим близким приводить мне на память это молчаливое материнское предостережение! Она в Швальбахе только и думала о нас, томясь мыслью, что здоровье мешает ей доставлять нам развлечение поездками и экскурсиями в горах, на которые так падки все посещающие впервые заграничные курорты.

Воды не принесли ожидаемой пользы, и мы оттуда направились в Гейдельберг на консультацию с знаменитым Хелиусом и на свидание с дядей Сергеем Николаевичем Гончаровым, временно там поселившимся с семьей.

Тут произошел эпизод, сам по себе пустяшный, но неизгладимо запечатлевшийся в моем уме, так как мое шестнадцатилетнее мышление сразу постигло вечно сочащуюся рану, нанесенную сердцу матери тем прошлым, о котором все близкие тщательно избегали ей напоминать.

Мы занимали в одной из больших гостиниц довольно оригинально расположенную квартиру. Спальни выходили в коридор и отделялись от отведенной нам гостиной с выходом на садик, раскинувшийся по пригорку, обширным залом, куда в

назначенные часы собирались за table d'hote.

Обедающих бывало немного.

Мы занимали один конец стола, а на противоположном собиралась группа из восьми до десяти человек русских студентов и студенток. Курсистки в ту пору не существовали.

Мы изредка глядели на них, они со своей стороны наблюдали за нами, но знакомства не завязывали и, по усвоенной привычке, продолжали между собою говорить по-французски.

По окончании обеда все быстро убиралось и оставался только стол под белой скатертью.

Когда я проходила однажды по опустелой и уже приведенной в порядок комнате, мне бросилась в глаза оставленная книга. Схватить ее и влететь в гостиную, где находились родители и сестры, было делом одной минуты.

– Посмотрите, – радостно воскликнула я, – русская книга, и разогнута как раз на статье о Пушкине.

«В этот приезд в Москву, – стала я громко читать, – произошла роковая встреча с Натальей Николаевной Гончаровой, – той бессердечной женщиной, которая загубила всю его жизнь».

– Довольно, – строго перебил отец, – отнеси сейчас на место. Что за глупое любопытство совать нос в чужие книги!

Я тут только сообразила свою оплошность и виновато взглянула на мать.

Я до сих пор не забыла ее смертельную бледность, то выражение гнетущей скорби, которое лишь старые мастера способны были воплотить в лике Mater Dolorosa; она закрыла лицо руками и, пока я поспешно выходила, до моего слуха болезненным стоном долетело:

– On ne m'épargnera done jamais! et devant mes enfants encore! (Никогда меня не пощадят, и вдобавок перед детьми!)

Напрасно страдала она мыслью уничижения перед нами, зная, что часто нет судей строже собственных детей. Ни одна мрачная тень не подкралась к ее светлому облику, и частые, обидные нападки вызывали в нас лишь острую, негодующую боль, равную той, с которой видишь, как святотатственная рука дерзко посягает на высокочтимую, дорогую святыню.

Относя книгу на место, я не утерпела, чтобы не взглянуть на заглавие. Теперь оно изгладилось из моей памяти, но утвердить могу одно, что внизу было имя Герцена.

Не прошло и десяти минут, как один из соотечественников явился за ней и, признав неприкосновенность, должен был унести ее в полном недоумении, удалась ли или нет придуманная выходка. Я же всю жизнь упрекала себя, что так легкомысленно

сыграла им в руку.

Не стану останавливаться на подробностях путешествия. Успешное лечение в Вилдбаде, осень в Женеве и первая зима в Ницце оказали на здоровье матери самое благоприятное влияние. Силы восстановились, кашель почти исчез, и если проявлялся при легкой простуде, то уже потерявши острую форму. Отец со спокойным сердцем мог вернуться на службу в Россию, оставив нас на лето в Венгрии, у тетушки Фризенгоф, так как, чтобы окончательно упрочить выздоровление, необходимо было еще другую зиму провести в тех же климатических условиях.

Но за период этой разлуки случилось обстоятельство, сведшее на нет с таким «трудом достигнутый результат. Дурные отношения между моей сестрой и ее мужем достигли кульминационного пункта; они окончательно разошлись, и, заручившись его согласием на развод, она с двумя старшими детьми приехала приютиться к матери.

Религиозные понятия последней страдали от этого решения, но, считая себя виноватой перед дочерью, она не пыталась даже отговорить ее.

Летние месяцы прошли в постоянных передрягах и нескончаемых волнениях. Дубельт, подавший первый эту мысль жене, вскоре передумал, отказался от данного слова, сам приехал в Венгрию, сперва с повинной, а когда она оказалась безуспешной, то он дал полную волю своему необузданному, бешеному характеру.

Тяжело даже вспомнить о происшедших сценах, пока, по твердому настоянию барона Фризенгофа, он не уехал из его имения, предоставив жене временный покой.

Положение ее являлось безысходным, будущность беспросветная. Сестра не унывала; ее поддерживала необычайная твердость духа и сила воли, но зато мать мучилась за двоих.

Целыми часами бродила она по комнате, словно пытаясь заглушить гнетущее горе физической усталостью, и часто, когда взор ее останавливался на Таше, влажная пелена отуманивала его. Под напором неотвязчивых мыслей, она снова стала таять как свеча, и отец, вернувшийся к нам осенью, с понятной тревогой должен был признать происшедшую перемену. Забрав с собою сестру и ее детей, мы направились в Ниццу на прежнюю виллу, оставленную за нами с весны.

Не знаю, приезд ли отца, его беззаветная любовь, нежная забота, проявляющаяся на каждом шагу, или временное затишье, вступившее в бурную жизнь сестры, приободрили мать, повлияв на ее нервную систему, но зима прошла настолько благополучно, что в мае она категорично объявила, что пора вернуться домой.

Смутное время, переживаемое Россией в 1863 году, уже выразилось Польским восстанием; отец считал неблаговидным пользоваться долее отпусками, а опять расставаться с ним ей было не под силу. Наконец, мне только что минуло восемнадцать лет, наступила пора меня вывозить в свет, и я всем существом стремилась к этой минуте, да и остальным это двухлетнее скитание прискучило; всех одинаково тянуло на родину.

Эти соображения одержали верх над голосом рассудка; доктора единодушно утверждали, что жизнь матери может продлиться только в благодатном климате, но она, равно как и отец, склонны были считать эти заявления привычной уловкой местных эскулапов.

Однако доктор-швейцарец, пользовавший ее все время и привязавшийся к ней теплым чувством, бывшим уделом всех, близко ее знавших, перед самым отъездом с неподдельной грустью поведал нашей гувернантке:

– J'ai fait tout mon possible pour empécher cette fatale imprudence… Souvenez-vous de mes paroles. L'organisme de madame est usé à un tel point que le plus léger froid l'enlevera comme une feuille d'au-tomne. (Я сделал все возможное, чтобы воспрепятствовать этой роковой неосторожности. Запомните мои слова. Ее организм расстроен до такой степени, что самая легкая простуда унесет ее, как осенний лист.)

Не прошло и полгода, как исполнилось это зловещее предсказание, и с каким сокрушенным сердцем отец и все мы, осиротелая семья, проклинали ослепивший нас тогда оптимизм!

В течение ниццкого карнавала легендарная красота матери вспыхнула последним бывалым блеском.

Я в эту зиму стала немного появляться в свете, но вывозил меня отец, так как никакое утомление не проходило безнаказанно у матери. Тогдашний префект Savigni придумал задать большой костюмированный бал, который заинтересовал все съехавшееся международное общество. Мать уступила моим просьбам и не только принялась спешно вышивать выбранный мне наряд, но, так как это должно было быть моим первым официальным выездом, захотела сама меня сопровождать.

Когда в назначенный час мы, одетые, собирались уезжать, все домашние невольно ахнули, глядя на мать. Во время первого года нашего пребывания за границей скончался в Москве дед Николай Афанасьевич, она по окончании траура сохранила привычку ходить в черном, давно отбросив всякие претензии на молодость.

Скромность ее туалетов как-то стушевывала все признаки красоты. Но в этот вечер серо-серебристое атласное платье не скрывало чудный контур ее изваянных плеч, подчеркивая редкую

стройность и гибкость стана. На гладко причесанных, с кое-где пробивающейся проседью, волосах лежала плоская гирлянда из разноцветно-темноватых листьев, придававшая ей поразительное сходство с античной камеей, на алой бархотке вокруг шеи сверкал бриллиантами царский подарок, и, словно окутанная прозрачной дымкой, вся фигура выступала из-под белого кружевного домино, небрежно накинутого на голову.

Ей тогда было ровно пятьдесят лет, но ни один опытный глаз не рискнул бы дать и сорока.

Чувство восхищения, вызванное дома, куда побледнело перед впечатлением, произведенным ею на бале.

Современные репортеры не преминули бы описать это entree a sensation![18]

Я шла за нею по ярко освещенной анфиладе комнат, и до моего тонкого слуха долетали обрывками восторженные оценки: «Voyez done, c'est du classique tout pur! On n'est plus belle comme cela! Parlez-moi des beautés slaves! Ce n'est plus une femme, c'est un rêve!» (Поглядите! Это самая настоящая классическая голова! Таких прекрасных женщин уже не бывает! Вот она, славянская красота! Это не женщина, а мечта!) а те, которые ее хоть по виду знали, ежедневно встречая медленно гуляющей «на променаде» в неизменном черном одеянии, с шляпой, надвинутой от солнечных лучей, недоумевая шептали:

«Это просто откровение! За флагом молодые красавицы! Воскресла прежняя слава! Второй не скоро отыщешь!»

Я видела, как мать словно ежилась под перекрестным огнем восторженных взглядов; я знала, как в эту минуту ее тянуло в обыденную, скромную скорлупу, и была уверена, что она с искренней радостью предоставила бы мне эту обильную дань похвал, тем охотнее, что, унаследовав тип Ланских, я не была красива и разве могла похвастаться только двумя чудными густыми косами, ниспадавшими ниже колен, ради которых и был избран мой малороссийский костюм.

Мать и тут сумела подыскать себе укромный уголок, из которого она с неразлучным лорнетом зорко следила за моим жизнерадостным весельем и, садясь в карету, с отличающей ее скромностью, заметила, улыбнувшись:

– Ce que c'est pourtant que la toilette! On est meme parvenu à me trouver bien ce soir![19]

– Comment bien, maman, – негодующим протестом вырвалось у меня. – C'est belle, c'est superbe qu'il faut dire. Vous êtiez la plus poétique des visions![20]

И должно быть, мой юношеский восторг метко схватил определение, так как именно такой полвека спустя стоит она еще

перед моими глазами.

X

Теперь приходится мне приступить к описанию моего первого тяжелого горя.

В радостные грезы беззаботной молодости впервые ворвалась леденящая струя суровой неотвратимости, оставив по себе неизгладимый след.

По возвращении из-за границы, мы провели лето в подмосковной деревне брата Александра, но мать часто нас оставляла, наведывая отца, который по обязанности проживал в Елагинском дворце.

Из-за смут и частых поджогов, разоряющих столицу, он был назначен временным генерал-губернатором заречной части ее.

Несмотря на краткость этих путешествий, они тем не менее утомляли мать, и как только она покончила устройство новой зимней квартиры, в первых числах сентября, она выписала нас домой.

Осень выдалась чудная; помня докторские предписания, мать относилась бережно к своему здоровью, и все шло благополучно до ноября.

Тут родился у брата третий ребенок, но первый, желанный сын, названный Александром, в честь деда и отца. Я уже упоминала о нежных, теплых отношениях, соединяющих ее с ним.

Переселившись в Москву, он, понятно, сильно желал, чтобы она приехала крестить внука, и этого сознания было достаточно, чтобы все остальные соображения разлетелись в прах.

Тщетно упрашивал ее отец, под гнетом смутного предчувствия, чтобы она ограничилась заочной ролью, – она настояла на своем намерении.

Накануне ее возвращения, в праздничной суматохе, позабыли истопить ее комнату, и этого было достаточно, чтобы она схватила насморк.

Путешествие довершило простуду.

Сутки она боролась еще с недугом, выехала со мною и сестрою по двум-трем официальным визитам, но по возвращении домой, когда она переодевалась, ее внезапно схватил сильнейший озноб. Ее так трясло, что зуб на зуб не попадал.

Обессиленная, она легла в постель. Призванный домашний доктор сосредоточенно покачал головою и отложил до следующего дня диагноз болезни.

Всю ночь она прометалась в жару, по временам вырывался

невольный стон от острой боли при каждом дыхании. Сомнения более не могло быть. Она схватила бурное воспаление легких.

Несмотря на обычное самообладание, отец весь как-то содрогнулся; ужас надвигавшегося удара защемил его сердце, но минутная слабость исчезла под напором твердой воли скрыть от больной охватившую тревогу.

Мы же, частью по неопытности, частью по привычке часто видеть мать болящей, были далеки от предположения смертельной опасности.

Первые шесть дней она страдала беспрерывно, при полной ясности сознания.

Созванные доктора признали положение очень трудным, но не теряли еще надежду на благополучное разрешение воспалительного процесса.

– Надо ждать отхаркивания – что-то оно скажет, – решили они. Как сегодня помню его появление. С какими страшными усилиями отделялась мокрота, окрашенная кровью! Как мы глазами впивались в этот благоприятный симптом! Какая безумная радость залила сердце, вызывая слезы умиления при охватившем сознании: мама спасена!

Утомленные продолжительным бдением и постоянным уходом, мы впервые за время болезни уснули крепким, счастливым сном.

Наутро надежды рассеялись. Громовым ударом поразил нас приговор, что не только дни, но, вероятно, и часы ее сочтены.

Телеграммами тотчас выписали Сашу из Москвы, Гришу из Михайловского, Машу из тульского имения.

Воспаление огненной лавой охватило все изможденное тело, – оно перешло на кишки и на все внутренности. Старик доктор Карелл, всю жизнь пользовавший мать, утверждал, что за всю свою практику он не встречал такого сложного случая.

Физические муки не поддаются описанию. Она знала, что умирает, и смерть не страшила ее. Со спокойной совестью она готова была предстать пред Высшим Судьей. Но, превозмогая страдания, преисполненное любовью материнское сердце терзалось страхом перед тем, что готовит грядущее покидаемым ею детям.

Образ далекой Таши, без всяких средств, с тремя крошками на руках, грустным видением склонялся над ее смертным одром. Гриша смущал ее давно продолжительной связью с одной француженкой, в которой она предусматривала угрозу его будущности; нас трое, так нуждающихся в любви и руководстве на первых шагах жизни, а мне, самой старшей, только что минуло восемнадцать лет!

В этой последней борьбе духа с плотью нас всех поражало, что она об отце заботилась меньше, чем о других близких, а как она его любила, какой благодарной нежностью прозвучало ее последнее прости!

– Merci, mon Pierre, tu es le seul être au monde qui m'a donné le bonheur sans mélange! Au bientot! Je sais que sans moi tu ne pourras pas vivre. (Ты единственный в мире, давший мне счастье без всякой примеси! До скорого свидания! Я знаю, что без меня ты не проживешь.)

И это блаженное сознание, эта вера в несокрушимость любви, даже за гробовым пределом, столь редко выпадавшие на женскую долю в супружестве, способны были изгладить в эту минуту все, выстраданное ею в жизни.

Этим убеждением руководилась она, благословляя и наставляя каждую из нас, как уже обреченных на полное сиротство, и, взяв слово со старшего брата, что в случае второго несчастья он возьмет нас к себе и вместе с женою заменит нам обоих отшедших.

Предчувствие ее не сбылось. Отец пережил ее на целых четырнадцать лет, но она ясно провидела глубокую, неизлечимую скорбь, ставшую его неразлучной спутницей до последнего дня его жизни. Сколько тихих слез воспоминания оросили за эти долгие годы ее дорогую могилу в Александро-Невской лавре, посещение которой стало его насущной потребностью!

Как часто, прощаясь со мной, отходя ко сну, он говаривал с облегченным вздохом:

– Одним днем еще ближе к моей драгоценной Наташе! Да, такую любовь способна внушить не красота плоти, чары которой гибнут во мраке и ужасах могилы, а та возвышенная чистота и благородство души, которая как отблеск вечного манит за собой в лучший, горний мир.

Христианкой прожив, такой она и скончалась. Самые мучительные страдания не вырвали слова ропота из ее уст. По временам она просила меня читать ей вслух Евангелие. Собрав последние силы, она прощалась со всеми служащими и каждого поблагодарила.

Без глухих, сдержанных рыданий никто не вышел из ее комнаты.

С трепетным ожиданием считала она часы до приезда Маши, которая поспела только накануне смерти. К ней обратилась она с трогательною мольбою относительно столько нашумевших писем ее отца. Как старшей, она неоднократно говорила, что дарит их ей, а теперь просила разрешения отдать их Таше, ввиду ее материальной нужды, тогда как она в это время казалась вполне

обеспеченной.

Сестра, конечно, ни минуты не задумалась дать свое согласие, и возможность этой, хоть малой, загробной помощи послужила утешением ее недремлющей заботе.

Мы все шестеро, кроме Таши, пребывавшей тогда за границей, рыдая толпились вокруг нее, когда по самой выраженному желанию она приобщилась Св. Тайн.

Это было рано утром 26 ноября 1863 г. Вслед за тем началась тяжелая, душу раздирающая агония.

Но на все вопросы до последней минуты она отвечала вполне ясно и сознательно. В предсмертной судороге она откинулась на левую сторону. Хрип становился все тише и тише. Когда часы пробили половину десятого вечера, освобожденная душа над молитвенно склоненными главами детей отлетела в вечность!

Несколько часов спустя мощная рука смерти изгладила все следы тяжких страданий.

Отпечаток величественного, неземного покоя сошел на застывшее, но все еще прекрасное чело.

Для верующей души так очевидно было, что там, у подножия Всеведающего Христа, в вечном блаженстве она обрела награду за суровый приговор людской несправедливости!

Анонимный пасквиль
Первый вызов. Женитьба Дантеса

[21]

Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и для чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по манере изложения я в ту же минуту удостоверился, что оно от иностранца, человека высшего общества, дипломата. Я приступил к розыскам. Я узнал, что в тот же день семь или восемь лиц получили по экземпляру того же письма, в двойных конвертах, запечатанных и адресованных на мое имя. Большинство из получивших эти письма, подозревая какую-нибудь подлость, не переслали их мне.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 21 ноября 1836 г.

Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев в полном собрании своем, под председательством великого магистра Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина[22] единогласно выбрали Александра Пушкина коадъютором (заместителем) великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом ордена.

Непременный секретарь: граф I. Борх.

Анонимный «Диплом», полученный Пушкиным 4 ноября 1836 г. // А. С. Поляков. О смерти Пушкина. СПб., 1922 г.

Я жил тогда в Большой Морской, у тетки моей Васильчиковой. В первых числах ноября (1836) она велела однажды утром меня позвать к себе и сказала:

– Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо, с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?

Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым, лакейским почерком: «Александру Сергеевичу Пушкину». Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что следовательно уничтожить я его не должен, а распечатать не в праве.

Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину: Пушкин сидел в своем кабинете, распечатал конверт и тотчас сказал мне:

– Я уже знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елиз. Мих. Хитровой; это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитровой.

Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами. В сочинении присланного ему всем известного диплома он подозревал одну даму, которую мне и назвал. Тут он говорил спокойно, с большим достоинством, и, казалось, хотел оставить все дело без внимания. Только две недели спустя, я узнал, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу, усыновленному, как известно, голландским посланником, бароном Геккереном.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания

Неумеренное и довольно открытое ухаживание молодого Геккерена за г-жою Пушкиной порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа. Несмотря на это, он, будучи уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов, не воспользовался своею супружескою властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело на самом деле к неслыханной катастрофе, разразившейся на наших глазах. 4-го ноября моя жена вошла ко мне в кабинет с запечатанной запискою, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрила в ту же минуту, что здесь крылось что-нибудь оскорбительное для Пушкина. Разделяя ее подозрения и воспользовавшись правом дружбы, которая связывала меня с ним, я решился распечатать конверт и нашел в нем диплом. Первым моим движением было бросить бумагу в огонь, и мы с женою дали друг другу слово сохранить все это в тайне. Вскоре мы узнали, что тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма, и даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему его друзьями, не знавшими их содержания и поставленными в такое же положение, как и мы. Эти письма привели к объяснениям супругов Пушкиных между собой и заставили невинную, в сущности, жену признаться в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерена; она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккеренов по отношению к ней; последний старался склонить ее изменить своему долгу и

толкнуть ее в пропасть. Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала, но, обладая горячим и страстным характером, не мог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с женой был поставлен: мучимый ревностью, оскорбленный в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене, видя, что честь его задета чьей-то неизвестной рукою, он послал вызов молодому Геккерену, как единственному виновнику, в его глазах, в двойной обиде, нанесенной ему. Необходимо при этом заметить, что, как только были получены эти анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этой уверенностью. Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. На этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований.

Кн. П. А. Вяземский – Вел. кн. Михаилу Павловичу.

Геккерен был педераст, ревновал Дантеса и поэтому хотел поссорить его с семейством Пушкина. Отсюда письма анонимные и его сводничество.

П. В. Анненков. Записи // Б. Модзалевский. Пушкин, 1929 г.

Когда появились анонимные письма, посылать их было очень удобно: в это время только что учреждена была городская почта. Князь Гагарин и Долгоруков посещали иногда братьев Россет, живших вместе со Скалоном на Михайловской площади в доме Занфтлебена. К. О. Россет получил анонимное письмо и по почерку стал догадываться, что это от них. Он, по совету Скалона, не передал Пушкину ни письма, ни своего подозрения.

Вяземские жили тут же подле Мещерских, т. е. близ дома Вильегорских, на углу Большой Итальянской и Михайловской площади (ныне Кочкурова).

А. О. Россет по записи Бартенева // Рус. арх., 1882, I.

Ревность Пушкина усилилась, и уверенность, что публика знает про стыд его, усиливала его негодование; но он не знал, на кого излить оное, кто бесчестил его сими письмами. Подозрение его и многих приятелей его падало на барона Геккерена. Барон Геккерен за несколько месяцев перед тем усыновил Дантеса, передал ему фамилию свою и назначил его своим наследником. Какие причины побудили его к оному, осталось неизвестным; иные утверждали, что он его считал сыном своим, быв в связи с его матерью; другие, что он из ненависти к своему семейству

давно желал кого-нибудь усыновить и что выбрал Дантеса потому, что полюбил его. Любовь Дантеса к Пушкиной ему не нравилась. Геккерен имел честолюбивые виды и хотел женить своего приемыша на богатой невесте. Он был человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком, перессоривший уже многих, презираемый теми, которые его проникли. Весьма правдоподобно, что он был виновником сих писем с целью поссорить Дантеса с Пушкиным и, отвлекши его от продолжения знакомства с Натальей Николаевной, исцелить его от любви и женить на другой. Сколь ни гнусен был сей расчет, Геккерен был способен составить его. Подозрение пало также на двух молодых людей, кн. Петра Долгорукого и кн. Гагарина; особенно на последнего. Оба князя были дружны с Геккереном и следовали его примеру, распуская сплетни. Подозрение подтверждалось адресом на письме, полученном К. О. Россет; на нем подробно описан был не только дом его жительства, но куда повернуть, взойдя на двор, по какой идти лестнице и какая дверь его квартиры. Сии подробности, неизвестные Геккерену, могли только знать эти два молодые человека, часто посещавшие Россета, и подозрение, что кн. Гагарин был помощником в сем деле, подкрепилось еще тем, что он был очень мало знаком с Пушкиным и казался очень убитым тайною грустью после смерти Пушкина. Впрочем, участие, им принятое в пасквиле, не было доказано, и только одно не подлежит сомнению, это то, что Геккерен был их сочинитель. Последствия доказали, что государь в этом не сомневался, и говорят, что полиция имела на то неоспоримые доказательства.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки // Рус. арх., 1882, I.

Зимою 1836/37 г. на одном из Петербургских больших вечеров стоявший позади Пушкина молодой князь П. В. Долгорукий (впоследствии известный генеалог) кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал вверх пальцы, растопыривая их рогами. В это время уже ходили в обществе безымянные письма, рассылаемые к приятелям Пушкина для передачи ему. Граф Адлерберг знал о том. Находясь в постоянных дружеских сношениях с Жуковским, восхищаясь дарованием Пушкина, он тревожился мыслию о сем последнем. Ему вспомнилось, что кавалергард Дантес как-то выразил желание проехаться на Кавказ и подраться с горцами. Граф Адлерберг поехал к вел. кн. Михаилу Павловичу (который тогда был главнокомандующим гвардейского корпуса) и, сообщив ему свои опасения, говорил, что следовало хотя на время удалить Дантеса

из Петербурга. Но остроумный француз-красавец пользовался большим успехом в обществе. Его считали украшением балов. Он подкупал и своим острословием, до которого великий князь был большой охотник, и меру, предложенную Адлербергом, не успели привести в исполнение.

П. И. Бартенев со слов гр. В. Ф. Адлерберга // Рус. арх. 1892, II

Причины дуэли отца мать моя исключительно объясняла тем градом анонимных писем, пасквилей, которые в конце 1836 г. отец мой стал получать беспрестанно. Едва только друзья его В. А. Жуковский, кн. П. А. Вяземский успокоят отца моего, – он вновь получает письма и приходит в сильнейшее раздражение. Авторами писем мать моя всегда признавала кн. Петра Владимировича Долгорукова, которого называли bancal[23], – известного своею крайне дурной репутацией. – Другое лицо, на которого указывала моя мать, как на автора безымянных писем, был кн. Иван Сергеевич Гагарин; по мнению матери, он и ушел в орден иезуитов, чтобы замолить свой грех перед моим отцом. Впрочем, если Гагарин потом отрицал свою вину, то ему еще можно было поверить.

Гр. Н. А. Меренберг (дочь Пушкина), по записи М. И. Семевского // Модзалевский Б., Оксман Ю., Цявловский М. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924.

Впоследствии узнал я, что подкидные письма, причинившие поединок, писаны были кн. Ив. Серг. Гагариным, с намерением подразнить и помучить Пушкина. Несчастный исход дела поразил князя до того, что он расстроился в уме, уехал в чужие края, принял католическую веру и поступил в орден иезуитов. В пребывание мое в Париже (1845–1847 г.), был он послушником монастыря в Монруже и исправлял самые унизительные работы; потом в иезуитском доме учил грамоте нищих мальчишек. Впоследствии, кажется, повышен был в чине.

Н. И. Греч. Записки о моей жизни. СПб., 1886

К братьям моим К. О. и А. О. Россетам часто ходил кн. Иван Гагарин, и в городе толковали о неурядице в доме Пушкина. Гагарин вышел от них в смущении и сказал: «Гаже анонимных писем ничего не может быть». Он уже получил свое, написанное незнакомым почерком. Вслед за ним братья, Скалон, Карамзины, Вяземский, Жуковский, Виельгорский, даже государь получили эти злополучные письма. Кого подозревать? Все единогласно обвиняли банкаля (кривоногого) Долгорукова, он один способен на подобную гадость.

А. О. Смирнова. Автобиография

Автором этих записок, по сходству почерка, Пушкин подозревал барона Геккерена-отца. После смерти Пушкина многие в этом подозревали князя Гагарина (вступившего потом в иезуиты); теперь же подозрение это осталось за жившим тогда вместе с ним князем Петром Влад. Долгоруковым. Поводом к подозрению кн. Гагарина послужило то, что письма были писаны на бумаге, одинакового формата с бумагою кн. Гагарина.

А. Аммосов

Мне только что сказали, что Дантес-Геккерен хочет начать дело с (кн. П. Вл.) Долгоруковым и что он намеревается доказать, что именно Долгоруков составил подлые анонимные письма, следствием которых была смерть Пушкина. Уже давно у меня была тысяча мелких поводов предполагать, что это жестокое дело исходило от Долгорукова. В свое время предполагали, что его совершил (кн. И. С.) Гагарин и что угрызения совести в этом поступке заставили последнего сделаться католиком и иезуитом; главнейший повод к такому предположению дала бумага, подобную которой, как утверждали, видали у Гагарина. Со своей стороны я слишком люблю и уважаю Гагарина, чтобы иметь на него хотя бы малейшее подозрение; впрочем, в прошедшем году я самым решительным образом расспрашивал его об этом; отвечая мне, он даже и не думал оправдывать в этом себя, уверенный в своей невинности; но, оправдывая Долгорукова в этом деле, он рассказал мне о многих фактах, которые показались мне скорее доказывающими виновность этого последнего, чем что-либо другое. Во всяком случае оказывается, что Долгоруков жил тогда вместе с Гагариным, что он прекрасно мог воспользоваться бумагою последнего и что поэтому главнейшее основание направленных против него подозрений могло пасть на него, Гагарина.

Княгиня (жена кн. П. Вл. Долгорукова) утверждала (и это говорила она всем), что ее муж ей сказал, что он – автор всей этой интриги.

С. А. Соболевский – светл. кн. С. М. Воронцову, 7 февраля 1862 г. // Модзалевский Б., Оксман Ю., Цявловский М. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924

На основании детального анализа почерков на данных мне анонимных пасквильных письмах об А. С. Пушкине и сличении этих почерков с образцами подлинного почерка князя Петра Владимировича Долгорукова, я заключаю, что данные мне для

экспертизы в подлинниках пасквильные письма об А. С. Пушкине в ноябре 1836 года написаны несомненно собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым.

А. А. Сальков, судебный эксперт и инспектор Научно-технического бюро ленинградского губ. уголовного розыска (авг. 1927 г.) // П. Щеголев. «Дуэль», изд. 3

Государь Александр Николаевич у себя в зимнем дворце за столом, в ограниченном кругу лиц, громко сказал: «Ну, вот теперь известен автор анонимных писем, которые были причиною смерти Пушкина, – это Нессельроде». Слышал от особы, сидящей возле государя. Соболевский подозревал, но очень нерешительно, князя П. В. Долгорукова.

Кн. А. М. Голицын. Из неизданных записок. Московский пушкинист. Вып. 1, 1927

Кн. П. А. Вяземский в письме к А. Я. Булгакову от 8 апреля 1837 г. писал: «под конец одна гр. Н. (графиня М. Д. Нессельроде) осталась при нем (Геккерене – старшем), но все-таки не могла вынести его, хотя и плечиста, и грудиста, и брюшиста». Женщина, упоминаемая в письме, одаренная характером независимым, непреклонная в своих побуждениях, верный и горячий друг своих друзей, руководимая личными убеждениями и порывами сердца, самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней, гордой, могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сен-Жерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и в салоне графини Нессельроде в доме министерства иностранных дел в Петербурге. Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитного олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграммическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ее, графа Гурьева, бывшего министром финансов в царствование императора Александра I.

Кн. Пав. Вяземский. Собр. соч.

Графу С. С. Уварову приписывали распространение пасквиля рассылкою лицам высшего круга, даже незнакомым с Пушкиным, копий с этого пасквиля, сделанных во множестве по приказанию графа.

П. А. Ефремов. Соч. Пушкина, изд. Суворина, 1905, т. VIII, с.

В ноябре 1836 г. Пушкин вместе с Матюшкиным был у М. Л. Яковлева в день его рождения[24]; еще тут был князь Эристов, воспитанник второго курса, и больше никого. Пушкин явился последним и был в большом волнении. После обеда они пили шампанское. Вдруг Пушкин вынимает из кармана полученное им анонимное письмо и говорит: «посмотрите, какую мерзость я получил». Яковлев (директор типографии II Отделения собственной е. в. канцелярии) тотчас обратил внимание на бумагу этого письма и решил, что она иностранная и, по высокой пошлине, наложенной на такую бумагу, должна принадлежать какому-нибудь посольству. Пушкин понял всю важность этого указания, стал делать розыски и убедился, что эта бумажка голландского посольства.

Я. К. Грот со слов лицейского товарища Пушкина Ф. Ф. Матюшкина

В то время несколько шалунов из молодежи, – между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой кузен, – стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин.

Кн. А. В. Трубецкой // Щеголев

Вообще говоря, это низкое и неосновательное оскорбление вызвало негодование; но, повторяя, что поведение моей жены было безупречно, все говорили, что поводом к этой клевете послужило настойчивое ухаживание за нею г. Дантеса. Я не мог допустить, чтобы имя моей жены в такой истории связывалось с именем кого бы то ни было. Я поручил сказать это г. Дантесу. Барон Геккерен приехал ко мне и принял вызов за г. Дантеса, попросив отсрочки на две недели.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 21 ноября 1836 г.

Вызов Пушкина не попал по своему назначению. В дело вмешался старый Геккерен. Он его принял, но отложил окончательное решение на 24 часа, чтобы дать Пушкину возможность обсудить все более спокойно. Найдя Пушкина, по истечении этого времени, непоколебимым, он рассказал ему о своем критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это дело, каков бы ни был исход; он ему говорил о своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь, с целью обеспечить ему благосостояние. Он прибавил, что видит все здание своих надежд

разрушенным до основания в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до конца. Чтобы приготовиться ко всему, могущему случиться, он попросил новой отсрочки на неделю. Принимая вызов от лица молодого человека, т. е. своего сына, как он его называл, он, тем не менее, уверял, что тот совершенно не подозревает о вызове, о котором ему скажут только в последнюю минуту. Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, сказал: «Если так, то не только неделю, – я вам даю две недели сроку и обязуюсь честным словом не давать никакого движения этому делу до назначенного дня и при встречах с вашим сыном вести себя так, как если бы между нами ничего не произошло». Итак, все должно было остаться без перемены до решающего дня. Начиная с этого момента, Геккерен пустил в ход все военные приемы и дипломатические хитрости. Он бросился к Жуковскому и Михаилу Виельгорскому, чтобы уговорить их стать посредниками между ним и Пушкиным. Их миролюбивое посредничество не имело никакого успеха.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февраля 1837 г.

Пушкин, преследуемый анонимными письмами, писал Геккерну, кажется через брата жены своей, Гончарова, вызов на поединок. Названый отец Геккерна, старик Геккерен, не замедлил принять меры. Князь Вяземский встретился с ним на Невском, и он стал рассказывать ему свое горестное положение: говорил, что всю жизнь свою он только и думал, как бы устроить судьбу своего питомца, что теперь, когда ему удалось перевести его в Петербург, вдруг приходится расстаться с ним, потому что во всяком случае, кто из них ни убьет друг друга, разлука несомненна. Он передавал князю Вяземскому, что он желает сроку на две недели для устройства дел, и просил князя помочь ему. Князь тогда же понял старика и не взялся за посредничество; но Жуковского старик разжалобил: при его посредстве Пушкин согласился ждать две недели.

П. И. Бартенев со слов кн. П. А. Вяземского // Рус. арх., 1888, II

6 ноября. Гончаров (брат Натальи Николаевны), у меня (в Царском Селе) – моя поездка в Петербург. К Пушкину. Явление Геккерна. Мое возвращение к Пушкину.

7 ноября. Я поутру у Загряжской (Ек. Ив-ны, тетки Нат. Ник-ны Пушкиной). От нее к Геккерну. (Mes antecedents[25]. Неизвестность совершенная прежде бывшего). Открытие Геккерна. О любви сына к Катерине (Гончаровой, сестре Нат. Ник-

ны) (моя ошибка насчет имени) открытие о родстве; о предполагаемой свадьбе. – Мое слово. – Мысль все остановить.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки // Щеголев

Геккерен, между прочим, объявил Жуковскому, что если особенное внимание его сына к г-же Пушкиной и было принято некоторыми за ухаживание, то все-таки тут не может быть места никакому подозрению, никакого повода к скандалу, потому что барон Дантес делал это с благородною целью, имея намерение просить руки сестры г-жи Пушкиной, Кат. Ник. Гончаровой. Отправясь с этим известием к Пушкину, Жуковский советовал барону Геккерену, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи.

К. К. Данзас по записи Амосова // Посл. дни Пушкина.

(7 ноября). Возвращение к Пушкину. Les revelations[26]. Его бешенство. – Свидание с Геккерном. Извещение его Вьельгорским. Молодой Геккерн у Вьельгорского.

8 ноября. Геккерн у Загряжской. Я у Пушкина. Большое спокойствие. Его слезы. То, что я говорил о его отношениях.

9 ноября. Les revelations de Heckern (Признания Геккерна). – Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки // Щеголев.

Первый твой вызов не попался в руки сыну, а пошел через отца, и сын узнал о нем только по истечении 24 часов, т. е. после вторичного свидания отца с тобою. В день моего приезда, в то время, когда я у тебя встретил Геккерна, сын был в карауле и возвратился домой на другой день в час. За какую-то ошибку он должен был дежурить три дня не в очередь. Вчера он в последний раз был в карауле и нынче в час пополудни будет свободен… Эти обстоятельства изъясняют, почему он лично не мог участвовать в том, что делал его бедный отец, силясь отбиться от несчастия, которого одно ожидание сводит его с ума.

В. А. Жуковский – Пушкину, 10 (?) ноября 1836 г. // Переп. Пушкина, III

Мой сын принял вызов; принятие вызова было его первою обязанностью, но, по меньшей мере, надо объяснить ему, ему самому, по каким мотивам его вызвали. Свидание представляется мне необходимым, обязательным, – свидание между двумя противниками в присутствии лица, подобного вам, которое

сумело бы вести свое посредничество со всем авторитетом полного беспристрастия и сумело бы оценить реальное основание подозрений, послуживших поводом к этому делу. Но после того, как обе стороны исполнили долг честных людей, я предпочитаю думать, что вашему посредничеству удалось бы открыть глаза г. Пушкину и сблизить двух лиц, которые доказали, что обязаны друг другу взаимным уважением.

Бар. Геккерен-старший – В. А. Жуковскому, 9 ноября 1836 г. // Щеголев

Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну; я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не видавшись с тобою, не могу ничего отвечать. Итак, есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит. Но ради бога одумайся. Дай мне счастие избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления. Жду ответа.

В. А. Жуковский – Пушкину, 9 (?) ноября 1836 г.[27] *// Переп. Пушкина, III*

Ты вчера, помнится мне, что-то упомянул о жандармах, как будто опасаясь, что хотят замешать в твое дело правительство. На счет этого будь совершенно спокоен. Никто из посторонних ни о чем не знает… Нынче поутру скажу старому Геккерну, что не могу взять на себя никакого посредства, ибо из разговоров с тобою вчера убедился, что посредство ни к чему не послужит… Считаю святейшею обязанностью засвидетельствовать перед тобою, что молодой Геккерн во всем том, что делал его отец, совершенно посторонний, что он так же готов драться с тобою, как и ты с ним, и что он так же боится, чтоб тайна не была как-нибудь нарушена. И отцу отдать ту же справедливость. Он в отчаянии, но вот что он мне сказал: «я приговорен к гильотине, я прибегаю к милости; если мне это не удастся, – придется взойти на гильотину. И я взойду, так как люблю честь моего сына, так же, как и его жизнь». – Этим свидетельством роль, весьма жалко и неудачно сыгранная, оканчивается. Прости.

В. А. Жуковский – Пушкину, 19 (?) ноября 1836 г. // Переп. Пушкина, III

10 ноября. Молодой Геккерн у меня. Я отказываюсь от свидания. Мое письмо к Геккерну. Его ответ. Мое свидание с Пушкиным.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки // Щеголев

Через несколько дней Геккерн-отец распустил слух о предстоящем браке молодого Геккерна с Екатериной Гончаровой. Он уверял Жуковского, что Пушкин ошибается, что сын его влюблен не в жену его, а в свояченицу, что уже давно он умоляет ее отца согласиться на их брак, но что тот, находя брак этот неподходящим, не соглашался, но теперь видя, что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, он, наконец, дал свое согласие. Отец требовал, чтобы об этом во всяком случае ни слова не говорили Пушкину, чтобы он не подумал, что эта свадьба была только предлогом для избежания дуэли. Зная характер Геккерна-отца, скорее всего можно предположить, что он говорил все это в надежде на чью-либо нескромность, чтобы обмануть доверчивого и чистосердечного Пушкина. Как бы то ни было, тайна была соблюдена, срок близился к окончанию, а Пушкин не делал никаких уступок, и брак был решен между отцом и теткой, г-жой Загряжской. Было бы слишком долго излагать все лукавые происки молодого Геккерна во время этих переговоров. Приведу только один пример. Геккерны, старый и молодой, возымели дерзкое и подлое намерение попросить г-жу Пушкину написать молодому человеку письмо, в котором она умоляла бы его не драться с ее мужем. Разумеется, она отвергла с негодованием это низкое предложение.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу // Щеголев

История разгласилась по городу. Отец с сыном прибегли к следующей уловке. Старик объявил, будто сын признался ему в своей страстной любви к свояченице Пушкина, будто эта любовь заставляла его так часто посещать Пушкиных, и будто он скрывал свои чувства только потому, что боялся не получить отцовского согласия на такой ранний брак (ему было с небольшим двадцать лет). Теперь Геккерн позволял сыну жениться, и для самолюбия Пушкина дело улаживалось как нельзя лучше: стреляться ему было уже не из чего, а в городе все могли понять, что француз женится из трусости.

П. И. Бартенев со слов кн. П. А. Вяземского // Рус. арх., 1888, II

Мое посещение Геккерна. Его требование письма. Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает о сватовстве[28]. Свидание Пушкина с Геккерном у Е. И. (Загряжской).

В. А. Жуковский. Конспективные заметки // Щеголев.

Я остаюсь в полном убеждении, что молодой Геккерн

совершенно в стороне, и на это вчера еще имел доказательство, получив от отца Г. доказательство материальное, что дело, о коем идут толки[29], затеяно было еще гораздо прежде твоего вызова.

В. А. Жуковский – Пушкину, в ноябре 1836 г. // Переп. Пушкина, III

Вот что a peu pres[30] ты сказал княгине (Вяземской) третьего дня, уже имея в руках мое письмо. Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите о мщении, единственном в своем роде: оно будет полное, совершенное; оно бросит человека в грязь; подвиги Раевского – детская игра в сравнении с тем, что я собираюсь сделать, и тому подобное.

В. А. Жуковский – Пушкину, в ноябре 1836 г. // Переп. Пушкина, III, 404

Кн. Вяземский, с которым я гулял, просил меня узнать, что замышляет Пушкин. Я пошел к нему и встретил его на Мойке. «Жены нет дома», – сказал он. Мы пошли гулять и зашли к Смирдину, где он отдал записку к Кукольнику. «Вам не приходится иметь дело с этим народом», – сказал он.

Гр. В. А. Сологуб. Записка, бывш. в распор. Анненкова // Модзалевский. Пушкин

Я продолжал затем гулять, по обыкновению, с Пушкиным и не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма. Точно такие же письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка, но истреблены ими тотчас по прочтении. Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека. «Если вам нужен посредник или секундант, – сказал я ему, – то располагайте мной». Эти слова сильно тронули Пушкина, и он мне сказал тут несколько таких лестных слов, что я не смею их повторить; но слова эти остались отраднейшим воспоминанием моей литературной жизни. Порадовав меня своим отзывом, Пушкин прибавил:

– Дуэли никакой не будет; но я, может быть, попрошу вас быть свидетелем одного объяснения, при котором присутствие светского человека мне желательно, для надлежащего заявления, в случае надобности.

Все было говорено по-французски.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания

Барон Геккерн сообщил мне, что он уполномочен уведомить меня, что все те основания, по которым вы вызвали меня,

перестали существовать, и что посему я могу смотреть на этот ваш поступок, как на не имевший места.

Когда вы вызвали меня без объяснения причин, я без колебаний принял этот вызов, так как честь обязывала меня это сделать. В настоящее время вы уверяете меня, что вы не имеете более оснований желать поединка. Прежде, чем вернуть вам ваше слово, я желаю знать, почему вы изменили свои намерения, не уполномочив никого представить вам объяснения, которые я располагал дать вам лично. Вы первый согласитесь с тем, что прежде, чем взять свое слово обратно, каждый из нас должен представить объяснения для того, чтобы впоследствии мы могли относиться с уважением друг к другу.

Геккерен – Пушкину // Щеголев

Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки // Щеголев

Я был совершенно покоен насчет последствий писем, но через несколько дней должен был разувериться. У Карамзиных праздновался день рождения старшего сына[31]. Я сидел за обедом подле Пушкина. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой:

– Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь…

Потом он продолжал шутить и разговаривать, как бы ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений.

Вечером я поехал на большой раут к австрийскому посланнику, графу Фикельмону. На рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Наталии Николаевны Пушкиной (которой на рауте не было), отличалась от прочих белым платьем. С ней любезничал Дантес-Геккерн. Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом и, как узнал я потом, самому Дантесу высказал несколько более чем грубых слов. С д'Аршиаком, статным молодым секретарем французского посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек. – «Я человек честный, – отвечал он, – и надеюсь это скоро доказать». – Затем он стал объяснять, что не понимает, что от него Пушкин хочет; что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принужден; но никаких

ссор и скандалов не желает.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания

Я взял Дантеса в сторону. «Что вы за человек?» – спросил я. «Что за вопрос», – отвечал он и начал врать. «Что вы за человек?» – повторил я. «Я человек честный, мой дорогой, и скоро я это докажу». Разговор наш продолжался долго. Он говорил, что чувствует, что убьет Пушкина, а что с ним могут делать, что хотят: на Кавказ, в крепость – куда угодно. Я заговорил о жене его. «Мой дорогой, она жеманница». Впрочем, о дуэли он не хотел говорить. «Я все поручил д'Аршиаку. Я к вам пришлю д'Аршиака или моего отца». С д'Аршиаком я не был знаком. Мы поглядели друг на друга. После я узнал, что Пушкин подошел к нему на лестнице и сказал: «Вы французы, вы очень любезны. Вы все знаете латинский язык, но когда вы деретесь, вы становитесь за тридцать шагов и стреляете. Мы, русские, чем дуэль… (пропуск в рукописи Анненкова), тем жесточе должна она быть».

Гр. В. А. Сологуб. Записка, бывш. в распор. Анненкова // Б. Модзалевский

Записка Н. Н. (Нат. Ник. Пушкиной) ко мне и мой совет. Это было на рауте Фикельмона.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки // Щеголев

На другой день, – это было во вторник 17 ноября, – я поехал сперва к Дантесу. Он ссылался во всем на д'Аршиака. Наконец, сказал: «Вы не хотите понять, что я женюсь на Екатерине. Пушкин берет назад свой вызов, но я не хочу, чтобы получилось впечатление, будто я женюсь для избежания дуэли. Притом я не хочу, чтобы во всем этом произносилось имя женщины. Вот уже год, как старик (Геккерен) не хочет позволить мне жениться». Я поехал к Пушкину. Он был в ужасном порыве страсти. «Дантес подлец. Я ему вчера сказал, что плюю на него, – говорил он. – Вот что. Поезжайте к д'Аршиаку и устройте с ним материальную сторону дуэли. Как секунданту, должен я вам сказать причину дуэли. В обществе говорят, что Дантес ухаживает за моей женой. Иные говорят, что он ей нравится, другие, что нет. Все равно, я не хочу, чтобы их имена были вместе. Получив письмо анонимное, я его вызвал. Геккерн просил отсрочки на две недели. Срок кончен, д'Аршиак был у меня. Ступайте к нему». – «Дантес, – сказал я, – не хочет, чтоб имена женщин в этом деле называли». – «Как! – закричал Пушкин. – А для чего же это все?» – И пошел, и пошел. «Не хотите быть моим секундантом? Я возьму другого».

Гр. В. А. Сологуб. Записка, бывшая в распоряжении Анненкова

// Б. Модзалевский. Пушкин

На другой день (17-го ноября) погода была страшная: снег, метель. Я поехал сперва к отцу моему, жившему на Мойке, потом к Пушкину, который повторил мне, что я имею только условиться на счет материальной стороны самого беспощадного поединка, и, наконец, с замирающим сердцем, отправился к д'Аршиаку. Каково же было мое удивление, когда с первых слов д'Аршиак объявил мне, что он всю ночь не спал, что он хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность сперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нам дела. Затем он мне показал: 1) Экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина. 2) Вызов Пушкина Дантесу после получения диплома. 3) Записку посланника барона Геккерна, в которой он просил, чтобы поединок был отложен на две недели. 4) Собственноручную записку Пушкина, в которой он объявлял, что берет свой вызов назад на основании слухов, что г. Дантес женится на его невестке, К. Н. Гончаровой.

Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе я ничего не слыхал, ничего не ведал и только тут понял причину вчерашнего белого платья, причину двухнедельной отсрочки, причину ухаживания Дантеса. Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел. Мера терпения преисполнилась. При получении глупого диплома от безыменного негодяя, Пушкин обратился к Дантесу, потому что последний, танцуя часто с Натальей Николаевной, был поводом к мерзкой шутке. Самый день вызова неопровержимо доказывает, что другой причины не было. Кто знал Пушкина, тот понимает, что не только в случае кровной обиды, но даже при первом подозрении, он не стал бы дожидаться подметных писем. Одному богу известно, что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшем его мелкими, беспрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом. Я твердо убежден, что, если бы С. А. Соболевский был тогда в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его. Прочие были не в силах.

– Вот положение дела, – сказал д'Аршиак. – Вчера кончился двухнедельный срок, и я был у г. Пушкина с извещением, что мой друг Дантес готов к его услугам. Вы понимаете, что Дантес желает жениться, но не может жениться иначе, как если г. Пушкин откажется просто от своего вызова без всякого объяснения, не упоминая о городских слухах. Г. Дантес не может допустить, чтоб о нем говорили, что он был принужден жениться,

и женился во избежание поединка. Уговорите г. Пушкина безусловно отказаться от вызова. Я вам ручаюсь, что Дантес женится, и мы предотвратим, может быть, большое несчастие[32].

Этот д'Аршиак был необыкновенно симпатичной личностью и сам скоро умер насильственной смертью на охоте. Мое положение было самое неприятное: я только теперь узнал сущность дела; мне предлагали самый блистательный исход, то, что я и требовал, и ожидать бы никак не смел, а между тем я не имел поручения вести переговоры. Потолковав с д'Аршиаком, мы решили съехаться в три часа у самого Дантеса. Тут возобновились те же предложения, но в разговорах Дантес не участвовал, все предоставив секунданту. Никогда в жизни своей я не ломал так головы. Наконец, потребовав бумаги, я написал по-французски Пушкину записку.

Гр. В. А. Сологуб, Воспоминания

Я был, согласно вашему желанию, у г. д'Аршиака, чтобы условиться о времени и месте. Мы остановились на субботе, так как в пятницу я не могу быть свободен, в стороне Парголова, ранним утром, на 10 шагов расстояния. Г. д'Аршиак добавил мне конфиденциально, что барон Геккерн окончательно решил объявить о своем брачном намерении, но, удерживаемый опасением показаться желающим избежать дуэли, он может сделать это только тогда, когда между вами все будет кончено, и вы засвидетельствуете словесно перед мной или г. д'Аршиаком, что вы не приписываете его брака расчетам, недостойным благородного человека.

Не имея от вас полномочия согласиться на то, что я одобряю от всего сердца, я прошу вас, во имя вашей семьи, согласиться на это предложение, которое примирит все стороны. Нечего говорить о том, что д'Аршиак и я ручаемся за Геккерена. Будьте добры дать ответ тотчас.

Гр. В. А. Сологуб – Пушкину, 17 ноября 1836 года // Переп. П-на, III

Д'Аршиак прочитал внимательно записку, но не показал ее Дантесу, несмотря на его требование, а передал мне и сказал:

– Я согласен. Пошлите.

Я позвал своего кучера, отдал ему в руки записку и приказал везти на Мойку, туда, где я был утром. Кучер ошибся и отвез записку к отцу моему, который жил тоже на Мойке и у которого я тоже был утром. Отец мой записки не распечатал, но, узнав мой почерк и очень встревоженный, выглядел условия о поединке. Однако он отправил кучера к Пушкину, тогда как мы около двух

часов оставались в мучительном ожидании. Наконец, ответ был привезен.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания

Я не колеблюсь написать то, что я могу заявить словесно. Я вызвал г. Ж. Геккерена на дуэль, и он принял ее, не входя ни в какие объяснения. Я прошу господ свидетелей этого дела соблаговолить рассматривать этот вызов, как не существовавший, осведомившись по слухам, что г. Ж. Геккерен решил объявить свое решение жениться на m-lle Гончаровой после дуэли. Я не имею никакого основания приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека. Я прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом по вашему усмотрению.

Пушкин – гр. В. А. Сологубу, 17 ноября, 1836 года // Переп., III

– Этого достаточно, – сказал д'Аршиак, ответа Дантесу не показал и поздравил его женихом.

Тогда Дантес обратился ко мне со словами:

– Ступайте к г. Пушкину и поблагодарите его, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться, как братья.

Поздравив со своей стороны Дантеса, я предложил д'Аршиаку лично повторить эти слова Пушкину и ехать со мной. Д'Аршиак и на это согласился. Мы застали Пушкина за обедом. Он вышел к нам несколько бледный и выслушал благодарность, переданную ему д'Аршиаком.

– С моей стороны, – продолжал он, – я позволил себе обещать, что вы будете обходиться со своим зятем, как со знакомым.

– Напрасно, – воскликнул запальчиво Пушкин. – Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может.

Мы грустно переглянулись с д'Аршиаком. Пушкин затем немного успокоился.

– Впрочем, – добавил он, – я признал и готов признать, что г. Дантес действовал, как честный человек.

– Больше мне и не нужно, – подхватил д'Аршиак и поспешно вышел из комнаты.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания

По рассказу Матюшкина, Дантес был сын сестры Геккерена и Голландского короля, усыновленный богатым дядей. Геккерен не мог простить Пушкину, что он так круто повернул женитьбу Дантеса на своей свояченице. Это было так: Пушкин, возвратясь

откуда-то домой, находит Дантеса у ног своей жены. Дантес, увидя его, поспешно встал. На вопрос Пушкина, что это значит, Дантес отвечал, что он умолял Наталью Николаевну уговорить сестру свою идти за него. На это Пушкин сухо заметил, что тут не о чем умолять, что ничего нет легче: он звонит, приказывает вошедшему человеку позвать Катерину Николаевну и говорит ей: «Voila M. Dantes qui demande ta main[33], согласна ли ты?» Затем Пушкин прибавляет, что он тотчас же испросит на этот брак разрешение императрицы (К. Н. была фрейлина), едет во дворец и привозит это разрешение.

Я. Грот

Осенью 1836 г. Пушкин пришел к Клементию Осип. Россету и, сказав, что вызвал на дуэль Дантеса, просил его быть секундантом. Тот отказывался, говоря, что дело секундантов, вначале, стараться о примирении противника, а он этого не может сделать, потому что не терпит Дантеса, и будет рад, если Пушкин избавит от него петербургское общество; потом он недостаточно хорошо пишет по-французски, чтоб вести переписку, которая в этом случае должна быть ведена крайне осмотрительно; но быть секундантом на самом месте поединка, когда уже все будет условлено, Россет был готов. После этого разговора Пушкин повел его прямо к себе обедать. За столом подали Пушкину письмо. Прочитав его, он обратился к старшей своей свояченице, Екатерине Николаевне: – «Поздравляю, вы невеста; Дантес просит вашей руки». Та бросила салфетку и побежала к себе. Наталья Николаевна за нею. – Каков! – сказал Пушкин Россету про Дантеса.

П. И. Бартенев со слов А. О. Россета // Рус. арх., 1882, I

Что происходило по получении вызова в вертепе у Геккерена и Дантеса, неизвестно; но в тот же день Пушкин, сидя за обедом, получает письмо, в котором Дантес просит руки старшей Гончаровой, сестры Наталии Николаевны. Удивление Пушкина было невыразимое; казалось, что все сомнения должны были упасть перед таким доказательством, что Дантес не думает о его жене. Но Пушкин не поверил сей неожиданной любви, а так как не было причины отказать в руке свояченицы, тридцатилетней девушки, которой Дантес нравился, то и было изъявлено согласие. Помолвка Дантеса удивила всех и всех обманула. Друзья Пушкина, видя, что ревность его продолжается, напали на него, упрекая в безрассудстве; он же оставался неуспокоенным и не верил, что свадьба состоится.

Н. М. Смирнов // Рус. арх., 1882, I

Геккерен (Дантес), взбешенный холодностью Натальи Николаевны, заметной для всех в свете, и неудачей, постигшей все попытки отца, отважился посетить ее на дому, но случай натолкнул его в сенях на возвращающегося Пушкина.

Одного вида соперника было достаточно, чтобы забушевала в нем африканская кровь и, взбешенный предположением, что так нахально нарушается его запрет, – он немедленно обратился к молодому человеку с вопросом, что побуждает его продолжать посещения, когда ему хорошо должно быть известно, до какой степени они ему неприятны?

Самообладание не изменило Геккерену. Зрел ли давно задуманный план в его уме, или, вызванная желанием предотвратить возможное столкновение, эта мысль мгновенно озарила его, – кто может это решить? Хладнокровно, с чуть заметной усмешкой, выдержал он натиск первого гнева и в свою очередь вежливо спросил, отчего Пушкин так волнуется его ухаживанием, которое не может компрометировать его жену, так как отнюдь к ней не относится.

– Я люблю свояченицу вашу, Екатерину Николаевну, и это чувство настолько искренно и серьезно, что я готов сейчас просить ее руки.

Это признание озадачило Александра Сергеевича.

Несмотря на неожиданность, он мгновенно взвесил цену доказательства. Молодому, блестящему красавцу-иностранцу, который мог бы выбирать из самых лучших и выгодных партий, из любви к одной сестре связать себя навеки со старшей, отцветающей бесприданницею, – это было бы необъяснимым безумием, и разом просветленный, он уже добродушно объяснил ему, что участь Екатерины Николаевны не от него зависит и что для дальнейших объяснений ему следует обратиться к тетушке, Екатерине Ивановне Загряжской, как старшей представительнице семьи.

Наталью Николаевну это неожиданное сватовство поразило еще сильнее мужа. Она слишком хорошо видела в этом поступке необузданность страсти, чтобы не ужаснуться горькой участи, ожидавшей ее сестру.

Екатерина Николаевна сознавала, что ей суждено любить безнадежно, и потому, как в волшебном чаду, выслушала официальное предложение, переданное ей тетушкою, боясь поверить выпадавшему ей на долю счастью. Тщетно пыталась сестра открыть ей глаза, поверяя все хитро сплетенные интриги, которыми до последней минуты пытались ее опутать, и рисуя ей картину семейной жизни, где с первого шага Екатерина

Николаевна должна будет бороться с целым сонмом ревнивых подозрений и невыразимой мукой сознания, что обидное равнодушие служит ответом ее страстной любви.

На все доводы она твердила одно:

– Сила моего чувства к нему так велика, что, рано или поздно, оно покорит его сердце, а перед этим блаженством страдание не страшит!

Наконец, чтобы покончить с напрасными увещаниями, одинаково тяжелыми для обеих, Екатерина Николаевна в свою очередь не задумалась упрекнуть сестру в скрытой ревности, наталкивающей ее на борьбу за любимого человека.

– Вся суть в том, что ты не хочешь, ты боишься его мне уступить, – запальчиво бросила она ей в лицо.

Краска негодования разлилась по лицу Натальи Николаевны:

– Ты сама не веришь своим словам, Catherine! Ухаживание Геккерена сначала забавляло меня, оно льстило моему самолюбию: первым побуждением служила мысль, что муж заметит новый, шумный успех, и это пробудит его остывшую любовь. Я ошиблась! Играя с огнем, можно обжечься. Геккерен мне понравился. Если бы я была свободна, – не знаю, во что бы могло превратиться мимолетное увлечение. Постыдного в нем ничего нет! Перед мужем я даже и помыслом не грешна, и в твоей будущей жизни помехой, конечно, не стану. Это ты хорошо знаешь. Видно, от своей судьбы никому не уйти! И на этом покончилось все объяснение сестер.

А. П. Арапова. Новое время, 1907, № 11421.

Порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно: он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью, и все это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным, Дантес вдруг посватался на сестре Пушкиной; тогда жена открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна.

Император Николай I – вел. кн. Михаилу Павловичу, 3 февр. 1837 г. // Рус. стар., 1902, т. 110

Когда Пушкин узнал о свадьбе, уже решенной, он, конечно, должен был счесть ее достаточным для своей чести удовлетворением, так как всему свету было ясно, что этот брак по рассудку, а не по любви. Чувства, или так называемые «чувства» молодого Геккерена получили гласность такого рода, которая делала этот брак довольно двусмысленным. Вследствие этого Пушкин взял свой вызов обратно, но объявил самым

положительным образом, что между его семьей и семейством свояченицы он не потерпит не только родственных отношений, но даже простого знакомства, и что ни их нога не будет у него в доме, ни его – у них. Тем, кто обращался к нему с поздравлениями по поводу этой свадьбы, он отвечал во всеуслышание: «Tu l'as voulu, Georges Dandin»[34]. Говоря по правде, надо сказать, что мы все, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерен решился на этот отчаянный поступок, лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву. Я его, по крайней мере, так понял. Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февр. 1837 г. // Щеголев

Слава богу, – кажется, все кончено. Жених и почтенной его батюшка были у меня с предложением. К большому щастию, за четверть часа перед ними приехал старший Гончаров (Д. Н.), и он объявил им родительское согласие; итак, все концы в воду. Сегодня жених подает просьбу по форме о позволении женитьбы и завтра от невесты поступит к императрице. Теперь позвольте мне от всего моего сердца принести вам мою благодарность и простите все мучения, которые вы претерпели во все сие бурное время, я бы сама пришла к вам, чтоб отблагодарить, но право сил нету.

Е. И. Загряжская – В. А. Жуковскому // Щеголев

Согласие Екатерины Гончаровой и все ее поведение в этом деле непонятны, если только загадка эта не объясняется просто ее желанием во что бы то ни стало выйти из ряда зрелых дев. Пушкин все время думал, что какая-нибудь случайность помешает браку в самом же начале. Все же он совершился.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февр. 1837 г. // Щеголев

Вечером на бале С. В. Салтыкова свадьба была объявлена, но Пушкин Дантесу не кланялся. Он сердился на меня, что, несмотря на его приказание, я вступил в переговоры. Свадьбе он не верил.

– У него, кажется, грудь болит, – говорил он, – того гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет? Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее.

– А вы проиграете мне все ваши сочинения?
– Хорошо.
(Он был в это время как-то желчно весел.)
Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания

19 ноября 1836 г. отдано было в полковом приказе: «Неоднократно поручик барон де Геккерен подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе; хотя объявлено вчерашнего числа, что я буду сегодня делать репетицию ординарцам, на коей он и должен был находиться, но не менее того… на оную опоздал, за что и делаю ему строжайший выговор и наряжаю дежурным на пять раз».
С. А. Панчулидзев. Сборник биографий кавалергардов

– Послушайте, – сказал мне Пушкин через несколько дней, – вы были более секундантом Дантеса, чем моим; однако я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет.

Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письма к старику Геккерену. С сыном уже покончено… Вы мне теперь старичка подавайте».

Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу (приемный день князя Одоевского), то поехал к кн. Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить посылку письма. Действительно, это ему удалось; через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо послано не будет. Пушкин точно не отсылал письма, но сберег его у себя на всякий случай.
Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания

Нанести решительный удар… сочиненное вами, и три экземпляра безымянного письма… роздали… смастерили… беспокоимся более. Действительно, не прошло и трех дней в розысках, как я узнал, в чем дело. Если дипломатия не что иное, как искусство знать о том, что делается у других, и разрушать их замыслы, то вы отдадите мне справедливость и сознаетесь, что сами потерпели поражение на всех пунктах… Может быть, вы желаете знать, что мешало мне до сих пор опозорить вас в глазах нашего двора и вашего… Я добр, простодушен… Но сердце мое

чувствит… Дуэли мне уже недостаточно… самый след этого гнусного дела, из которого мне легко будет написать главу в моей истории рогоносцев.

Пушкин – бар. Геккерену-старшему. Первоначальная редакция письма от 21 ноября 1836 г. (черновик) // Рус. стар., 1880

Случилось, что в продолжение двух недель г. Дантес влюбился в мою свояченицу, Гончарову, и просил у нее руки. Между тем я убедился, что анонимное письмо было от Геккерена, о чем считаю обязанностью довести до сведения правительства и общества. Будучи единственным судьею и хранителем моей чести и чести моей жены, – почему и не требую ни правосудия, ни мщения, – не могу и не хочу представлять доказательств кому бы то ни было в том, что я утверждаю.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 21 ноября 1836 г.

1836 г. Месяц ноябрь. Присутствие их величеств в собственном дворце. Понедельник, 23-го. С девяти часов его величество принимал с докладом военного министра ген. – адъютанта графа Чернышева, ген. – лейтенанта гр. Грабовского (и т. д.). 10 минут 2-го часа его величество один в санях выезд имел прогуливаться по городу и возвратился в 3 часа во дворец. По возвращении его величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина.

Запись в камер-фурьерском журнале // «Огонек», 1928, № 24

Князь П. А. Вяземский и все друзья Пушкина не понимали и не могли себе объяснить поведения Пушкина в этом деле. Если между молодым Геккереном и женою Пушкина не прерывались в гостиных дружеские отношения, то это было в силу общечеловеческого, неизменного приличия, и сношения эти не могли возбудить не только ревности, но даже и неудовольствия со стороны Пушкина. Сам Пушкин говорил, что с получения безымянного письма он не имел ни минуты спокойствия. Оно так и должно было быть… Для Пушкина минутное ощущение, пока оно не удовлетворено, становилось жизненною потребностью… Чистосердечно сообщаемый женою разговор не заслуживал доверия в его глазах и мог только раздражать его самолюбие. В последние два месяца жизни Пушкин много говорил о своем деле с Геккереном, а отзывы его друзей и их молчание – все должно было перевертывать в нем душу и убеждать в необходимости кровавой развязки.

Кн. Пав. П. Вяземский. «Пушкин». II

25 ноября 1836 г. взято Пушкиным у Шишкина 1 250 руб. под залог шалей, жемчуга и серебра.

Б. Л. Модзалевский. Архив опеки над имуществом Пушкина // Пушкин и его совр-ки, XIII

(Вторая половина ноября 1836 г., на «пятнице» у А. Ф. Воейкова.) В это время вошел кудрявый, желтовато-смуглый брюнет с довольно густыми, темными бакенбардами, с смеющимися живыми глазами и с обликом лица южного, как бы негритянского происхождения… На Пушкине был темно-кофейного цвета сюртук с бархатным воротником, в левой руке он держал черную баранью кавказскую кабардинку с красным верхом. На шее у него был повязан шелковый платок довольно густо, и из-за краев этого платка виднелся порядочно измятый воротник белой рубашки. Когда Пушкин улыбался своею очаровательною улыбкой, алые широкие его губы обнаруживали ряды красивых зубов поразительной белизны и яркости.

…Пушкин кинулся с ногами на диван, причем, в полном смысле слова, помирал со смеху, хохоча звонко с легким визгом. Пришедши несколько в себя и вытирая слезы, он сказал Воейкову: «Извините мне мой обычный истерический припадок смеха. Так я всегда хохочу, когда речь идет о чем-нибудь забавном и менее этого»… Пушкин был от природы очень смешлив, и когда однажды заливался хохотом, то хохот этот был очень продолжителен.

В. Б. (В. П. Бурнашов). Мое знакомство с Воейковым // Рус. вестник, 1871, № 11

Пушкин был должен кн. Н. Н. Оболенскому 8000 руб., занятых у него в 1836 г. по двум заемным письмам; срок их минул 1 декабря 1836 г., но Пушкин просил Оболенского отсрочить платеж до марта 1837 г.

В начале декабря д'Аршиак показал мне несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания. Он рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкою подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший его смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания

(4 декабря 1836 г., у Греча, на именинах его жены). Пушкин, как заметили многие, был не в своей тарелке, на его

впечатлительном лице отражалась мрачная задумчивость. Пробыв у Греча с полчаса, Пушкин удалился. Греч сам проводил его в прихожую, где лакей Пушкина подал ему медвежью шубу и на ноги надел меховые сапоги. «Все словно бьет лихорадка, – говорил он, закутываясь, – все как-то везде холодно и не могу согреться; а порой вдруг невыносимо жарко. Нездоровится что-то в нашем медвежьем климате. Надо на юг, на юг!»

В. П. Бурнашов. Воспоминания // Рус. арх., 1872

Я был во дворце с 10 часов до 3 1/2 и был почти поражен великолепием двора, дворца и костюмов военных и дамских, нашел много апартаментов новых и в прекрасном вкусе отделанных. Пение в церкви восхитительное! Я не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных? – подобных! но много ли их? жена умного поэта и убранством затмевала других…

А. И. Тургенев – А. Я. Булгакову, 7 дек. 1836 года // Московский пушкинист. Вып. I, 1927

С самого моего приезда[35] я была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и какими-то судорожными движениями, которые начинались в его лице и во всем теле при появлении будущего его убийцы.

Кн. Е. Н. Мещерская (урожд. Карамзина) // Я. Грот

Мой сборник («Старина и Новизна») Пушкин советует мне назвать Старина и Новина, а не Новизна.

Кн. П. А. Вяземский – И. И. Дмитриеву, 9 дек. 1836 г. // Рус. арх., 1868

В полковом приказе 13 дек. 1836 г. Дантес показан заболевшим «простудною лихорадкою» с 12 декабря.

С. А. Панчулидзев. Сборник биографий кавалергардов

Я зашел к Пушкину справиться о песне о Полку Игореве, коей он приготовляет критическое издание… Он хочет сделать критическое издание сей песни, в роде Шлецерова Нестора, и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дождаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое пояснится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий слов и языка русского… Я провел

у них весь вечер в умном и любопытном разговоре.

А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу, 13 дек. 1836 г. // Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е.

(19 дек. 1836 г.) Вечер у кн. Мещерской (Карамз.). О Пушкине; все нападают на него за жену, я заступился.

А. И. Тургенев. Дневник // Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е

Пушкин мой сосед[36], он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не вносящим в разговор ту долю, которая прежде была так значительна. Но я не из числа таковых, и мы с трудом кончаем одну тему разговора, в сущности не заканчивая, то есть не исчерпывая ее никогда; его жена повсюду прекрасна как на балу, так и в своей широкой черной накидке у себя дома. Жених ее сестры (Дантес) очень болен, он не видается с Пушкиными.

А. И. Тургенев – Е. А. Свербеевой, 21 дек. 1836 г. // Московский пушкинист. Вып. I, 1927

Вы сообщаете мне новость о выходе Екатерины Гончаровой за барона Дантеса, теперь Геккерена. По словам г-жи Пашковой, которая об этом пишет своему отцу, это удивляет город и предместья не потому, что один из самых красивых кавалергардов и самых модных мужчин, имеющий 70 тысяч рублей доходу, женится на m-lle Гончаровой, – она для этого достаточно красива и достаточно хорошо воспитана, – но потому что его страсть к Натали ни для кого не была секретом. Я об этом прекрасно знала, когда была в Петербурге, и тоже подшучивала над этим; поверьте мне, тут что-то либо очень подозрительное, либо – недоразумение, и, может быть, будет очень хорошо, если свадьба не состоится.

О. С. Павлищева – С. Л. Пушкину, 24 декабря 1836 г., из Варшавы // П-н и его совр-ки, XII

Со свояченицей своею во все это время Пушкин был мил и любезен по-прежнему и даже весело подшучивал над нею по случаю свадьбы ее с Дантесом. Раз, выходя из театра, Данзас встретил Пушкиных и поздравил Катерину Николаевну Гончарову, как невесту Дантеса; при этом Пушкин сказал шутя Данзасу:

– Моя свояченица не знает теперь, какой она будет национальности: русскою, француженкою или голландкою?

А. Аммосов

В продолжение помолвки дом Пушкина был закрыт для Геккерена, и он виделся со своей невестой только у ее тетки Ек. Ив. Загряжской.

Бар. Густав Фризенгоф – А. П. Араповой // Красная нива, 1929, № 24

Был на балу у Е. Ф. Мейендорфа. Он и жена говорили о Пушкине, о данном мне поручении перевести для государя рукопись генерала Гордона. Я не танцевал и находился в комнате перед залой. Вдруг вышел оттуда Александр Сергеевич с Мейендорфом и нетерпеливо спрашивал его: «Да где же он? Где он?» Егор Федорович нас познакомил. Пошли расспросы об объеме и содержании рукописи… Он спросил, не имею ли других подобных занятий в виду по окончании перевода; и упрашивал навещать его.

Над. сов. Келлер. Дневник. Декабрь // Соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. VIII, 1905

28 декабря 1836 г. эскадронный командир Дантеса шт. – ротмистр Апрелев подал рапорт об «исходатайствовании дозволения проезжать по хорошей погоде поручику барону де Геккерену по случаю облегчения в болезни».

С. А. Панчулидзев

Моя свояченица Катерина выходит замуж за барона Геккерена, племянника и приемного сына посланника голландского короля. Это очень красивый и славный малый, весьма в моде, богатый, и на четыре года моложе своей невесты. Приготовление приданого очень занимает и забавляет мою жену и ее сестер, меня же приводит в ярость, потому что мой дом имеет вид магазина мод и белья.

Пушкин – С. Л. Пушкину (отцу) в конце дек. 1836 г.

А. А. Краевский работал у Пушкина в 1836 г. и заведовал корректурами пушкинского «Современника». Он часто видался с Пушкиным в последние годы его жизни. Однажды, собираясь в Москву, Краевский зашел к Пушкину проститься и напомнить ему его обещание дать стихотворение «Московскому Наблюдателю». Пушкин достал свою тетрадь, вырвал из нее листок и подал его Краевскому.

Это были стихи «Последняя туча рассеянной бури». Прочитав и складывая его, чтобы положить в карман, Краевский видит на

обороте листка еще небольшие стихи; но только что он прочел первый стих: «В Академии наук…» – Пушкин мгновенно вырвал у него листок, переписал посылаемые «Московскому наблюдателю» стихи на отдельной бумаге, отдал Краевскому, а первый листок спрятал. Краевский помнил, что в последнем стихе было: «От того, что есть чем сесть».

Через несколько месяцев Краевский приносит Пушкину корректуру «Современника». – «Некогда, некогда, – говорит Пушкин, – надобно ехать в публичное заседание Академии. Хотите? поедем вместе: посмотрите, как президент и вице-президент будут торчать на моей эпиграмме».

П. И. Бартенев со слов А. А. Краевского // Рус арх., 1892, II

В одно из своих посещений Краевский застал Пушкина, именно 28 декабря 1836 г., только что получившим пригласительный билет на годичный акт Академии наук.

– Зачем они меня зовут туда? Что я там будут делать? – говорил Пушкин. – Ну, да поедемте вместе завтра.

– У меня нет билета.

– Что за билет! Поедемте. Приезжайте ко мне завтра и отправимся.

29 декабря Краевский пришел. Подали двухместную, четвернею на вынос, с форейтором, запряженную карету, и А. С. Пушкин с А. А. Краевским отправились в Академию наук.

Перед этим только что вышел четвертый том «Современника», с «Капитанскою дочкою». В передней комнате Академии, пред залом, Пушкина встретил Греч – с поклоном чуть не в ноги:

– Батюшка, Александр Сергеевич, исполать вам! Что за прелесть вы подарили нам! – говорил с обычными ужимками Греч. – Ваша «Капитанская дочка» чудо как хороша! Только зачем это вы, батюшка, дворовую девку свели в этой повести с гувернером… Ведь книгу-то наши дочери будут читать!..

– Давайте, давайте им читать! – говорил в ответ, улыбаясь, Пушкин.

Вошли. За столом на председательском месте, вместо заболевшего Уварова, сидел князь М. А. Дундуков-Корсаков, лучезарный, в ленте, звездах, румяный, и весело, приветливо поглядывал на своих соседей-академиков и на публику. Непременный секретарь Академии Фукс (Фусс) читал отчет.

– Ведь вот сидит довольный и веселый, – шепнул Пушкин Краевскому, мотнув головой по направлению к Дундукову, – а ведь сидит-то на моей эпиграмме! Ничего, не больно, не вертится!

Давно была известна эпиграмма Пушкина:

В Академии наук
заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Отчего ж он заседает?
Оттого, что… есть.

Но Пушкин постоянно уверял, что она принадлежит Соболевскому. На этот раз он проговорился Краевскому потому, что незадолго пред тем сам же нечаянно показал ему автограф свой с этой именно эпиграммою.

М. И. Семевский со слов А. А. Краевского // Рус. стар., 1880, т. 29

Пушкин жалел об эпиграмме «В Академии наук», когда лично узнал Дундука.

С. А. Соболевский – М. Н. Лонгинову, 1855 г. Пушкин и его совр-ки, XXXI–XXXII

Вы застали меня врасплох, без гроша денег. Виноват, – сейчас еду по моим должникам собирать недоимки, и коли удастся, явлюся к вам… Экая беда!

Пушкин – Н. Н. Карадыгину, конец 1836 – нач. 1837 г.

На святках был бал у португальского, если память не изменяет, посланника, большого охотника. Во время танцев я зашел в кабинет, все стены которого были увешаны рогами различных животных, убитых ярым охотником, и, желая отдохнуть, стал перелистывать какой-то кипсек. Вошел Пушкин. «Вы зачем здесь? Кавалергарду, да еще не женатому, здесь не место. Вы видите, – он указал на рога, – эта комната для женатых, для мужей, для нашего брата». – «Полноте, Пушкин, вы и на бал притащили свою желчь; вот уж ей здесь не место»… Вслед за этим он начал бранить всех и вся, между прочим Дантеса, и так как Дантес был кавалергардом, то и кавалергардов. Не желая ввязываться в историю, я вышел из кабинета и, стоя в дверях танцевальной залы, увидел, что Дантес танцует с Натали.

Со слов А. В. Трубецкого в 1887 г. Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу. Отд. брошюра, перепеч. у Щеголева

С княгинею он был откровеннее, чем с князем. Он прибегал к ней и рассказывал свое положение относительно Геккерена. Накануне нового года у Вяземских был большой вечер. В качестве

жениха Геккерен явился с невестою. Отказывать ему от дому не было уже повода. Пушкин с женою был тут же, и француз продолжал быть возле нее. Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у него такой страшный вид, что, будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Наталья Николаевна с ним была то слишком откровенна, то слишком сдержанна.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской // Рус. арх., 1888, II

(В начале 1837 г.) Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича (Плетнева), я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! Хороши наши министры! Нечего сказать!» – засмеялся и вышел.

Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин!

И. С. Тургенев. Литературный вечер у П. А. Плетнева

От 15 дек. 1836 г. по 3 янв. 1837 г. Дантес был болен.

В. В. Никольский (по данным архива Кавалергардского полка) // В. Никольский. Идеалы Пушкина.

Выздоровевшего г. поручика барона де Геккерена числить налицо, которого по случаю женитьбы его не наряжать ни в какую должность до 18 янв., т. е. в продолжение 15 дней.

Приказ по полку, 3 января 1837 г. // С. Панчулидзев

С месяц тому, Пушкин разговаривал со мною о русской истории; его светлые объяснения древней Песни о полку Игореве, если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки: вообще в последние годы жизни своей, с тех пор, как он вознамерился описать царствование и деяние Великого Петра, в нем развернулась сильная любовь к историческим знаниям и исследованиям отечественной истории. Зная его, как знаменитого поэта, нельзя не жалеть, что вероятно лишились в нем и будущего историка.

М. А. Коркунов. Письмо к издателю «Моск. ведом». С.-Петербург, 4 февраля 1837 г. // Пушкин и его совр-ки, VIII

В начале января 1837 г. баронесса Е. Н. Вревская приехала в Петербург с мужем. Пушкин, лишь только узнал о приезде друга своей молодости, поспешил к ней явиться. С этого времени он бывал у них почти ежедневно и долго и откровенно говорил с

баронессой о всех своих делах. Все это время он был в очень возбужденном и раздражительном состоянии. Он изнемогал под бременем клевет, не оставлявших в покое его семейной жизни; к тому же прибавилась крайняя запутанность материальных средств. Между тем жена его, не предвидя последствий, передавала мужу все, что доводилось ей слышать во время ее беспрестанных выездов в свет. Все это подливало масло в огонь. Пушкин видел во всем вздоре, до него доходившем, посягновение на его честь, на свое имя, на святость своего семейного очага, и, давимый ревностью, мучимый фальшивостью положения в той сфере, куда бы ему не следовало стремиться, видимо, искал смерти.

М. И. Семевский со слов бар. Ев. Н. Вревской // Рус. вестн., 1869, № 11

4 января 1837 г. вышел первый нумер «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду» под редакцией А. А. Краевского. Новому литературному органу, на зубок, Пушкин дал свое стихотворение «Аквилон». Когда Краевский, по выпуске первого нумера своей газеты, представил его Уварову, своему начальнику, – тот принял его крайне сухо, и по выходе из кабинета Краевского сказал бывшему при этом кн. М. А. Дундукову-Корсакову:

– Разве Краевский не знает, что Пушкин состоит под строгим присмотром тайной полиции, как человек неблагонадежный? Служащему у меня в министерстве не следует иметь сношение с людьми столь вредного образа мыслей, каким отличается Пушкин.

П. А. Ефремов // Рус. стар., 1880, т. 28

Мне бы так хотелось иметь через вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса. – Неужели причиной ее явилось анонимное письмо? Что это – великодушие или жертва? Мне кажется, – бесполезно, слишком поздно.

Императрица Александра Федоровна баронессе Е. Ф. Тизенгаузен в конце дек. 1836 г. – нач. янв. 1837 г. // Письма Пушкина к Ел. М. Хитрово. Лг., 1927

Начало мирному общежительству положил для меня Пушкин в последний год своей жизни. Любимый со мною разговор его за несколько недель до его смерти, все обращен был на слова: «Слава в вышних богу, и на земле мир, и в человецех благоволение». По его мнению, я много хранил в душе моей благоволения к людям.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту // Переписка Грота с Плетневым, II

(За три недели до смерти Пушкина.) Кабинет Пушкина состоял из большой узкой комнаты. Посреди стоял огромный стол простого дерева, оставлявший с двух концов место для прохода, заваленный бумагами, письменными принадлежностями и книгами, а сам поэт сидел в углу в покойном кресле. На Пушкине был старенький, дешевый халат, каким обыкновенно торгуют бухарцы в разноску. Вся стена была уставлена полками с книгами, а вокруг кабинета были расставлены простые плетеные стулья. Кабинет был просторный, светлый, чистый, но в нем ничего не было затейливого, замысловатого, роскошного, во всем безыскусственная простота и ничего поражающего.

Облачкин. Воспоминание о Пушкине // Северная пчела, 1864, № 49

Особый эпизод в студентской нашей жизни было посещение Пушкина, приглашенного профессором Плетневым на одну из своих лекций. Плетнев поднялся на кафедру, и в то же время в дверях аудитории показалась фигура Пушкина с его курчавой головой, огненными глазами и желтоватым, нервным лицом… Пушкин сел, с каким-то другим господином из литераторов, на одну из задних скамей и внимательно прослушал лекцию, не обращая внимания на беспрестанное осматривание его обращенными назад взорами сидевших впереди студентов… Профессор, читавший о древней русской литературе, вскользь упомянул о будущности ее, и при сем имя Пушкина прошло через его уста; возбуждение было сильное и едва не перешло в шумное приветствие знаменитого гостя. Это было уже в конце урочного часа, и Пушкин, как бы предчувствуя, что молодежь не удержится от взрыва, скромно удалился из аудитории, ожидая окончания лекции в общей проходной зале, куда и вскоре вышел к нему Плетнев, и они вместе уехали. Это было незадолго до смерти Пушкина.

М. Н. Воспоминания из дальних лет // Рус. стар., 1881, май

Недели за три до смерти историографа Пушкина был я по приглашению у него. Он много говорил со мной об истории Петра Великого. «Об этом государе, – сказал он между прочим, – можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю его состоит в том, что многие писатели, не доброжелательствуя ему, представляют разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали

похвалами все его действия». Александр Сергеевич на вопрос мой: скоро ли будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал: «Я до сих пор ничего еще не написал, занимался единственно собиранием материалов: хочу составить себе идею обо всем труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам». Просидев с полтора часа у Пушкина, я полагал, что беспокою его и отнимаю дорогое время, но он просил остаться и сказал, что вечером ничем не занимается. Возложенное на него поручение писать историю Петра весьма его обременяло. «Эта работа убийственная, – сказал он мне, – если бы я наперед знал, я бы не взялся за нее».

Надв. сов. Келлер. Дневник // Соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. VIII

Сколько теней восстает около меня и роится в моей памяти!.. Вот и Пушкин, с своим веселым, заливающимся, ребяческим смехом, с беспрестанным фейерверком остроумных, блистательных слов и добродушных шуток, а потом – растерзанный, убитый жестоким легкомыслием пустых, тупых умников салонных, не постигших ни нежности, ни гордости его огненной души.

Гр. А. Д. Блудова // Рус. арх., 1889, I

Старушка, няня детей Пушкина, рассказывала впоследствии, что в декабре 1836 г. и в начале января 1837 г. Александр Сергеевич был словно сам не свой: он или по целым дням разъезжал по городу, или, запершись в кабинете, бегал из угла в угол. При звонке в прихожей выбегал туда и кричал прислуге: «если письмо по городской почте, – не принимать!», а сам, вырвав письмо из рук слуги, бросался опять в кабинет и там что-то громко кричал по-французски. Тогда, бывало, к нему и с детьми не подходи, – заключала няня, – раскричится и вон выгонит.

Рус. стар., 1888, т. 28

По сохранившимся документам гончаровского архива мы можем установить, что Дантес счел нужным обеспечить себе (перед свадьбой) два обстоятельства: во-первых, он поставил условием ежегодную выплату его жене известной суммы, ввиду того, что выделить ее часть имения до смерти больного отца было невозможно. Во-вторых, он захотел иметь гарантию в том, что со временем эта часть наследства без всяких препятствий перейдет к его жене, причем желал строго фиксировать объем наследства. Опекун имения, Д. Н. Гончаров (брат Ек. Ник-ны) к свадьбе приехал из Москвы в Петербург и привез официальное согласие

родителей невесты. Опекун дал Дантесу обещанье выплачивать ежегодно сестре по 5000 руб. асс., причем 10 000 р. были выданы немедленно на приданое невесте.

В. С. Нечаева. Дантес (по материалам гончаровского архива) // Московский пушкинист. Вып. I, 1927

Ставши женихом Екатерины Гончаровой, Дантес поехал представляться ее тетушке, фрейлине Загряжской. – «Говорят, что вы очень красивы, дайте-ка на себя поглядеть», – сказала старая фрейлина и велела принести две свечи, чтобы получше его рассмотреть. – «Верно! Вы очень хороши!» – сказала она, окончив осмотр.

Луи Метман (внук Дантеса) по записи Я. Б. Полонского // Последние новости, 1930, № 3340

10 января брак (между Дантесом и Ек. Гончаровой) был совершен в обеих церквах (православной и католической) в присутствии всей семьи. Граф Григорий Строганов с супругой, – родные дядя и тетка молодой девушки, – были ее посажеными отцом и матерью, а с моей стороны графиня Нессельроде была посаженой матерью, а князь и княгиня Бутера свидетелями.

Бар. Геккерен-старший – барону Верстолку, 11 февраля 1837 г. // Щеголев

Бракосочетание состоялось в часовне княгини Бутера (жены неаполитанского посланника), у которой затем был ужин. Наталья Николаевна присутствовала на обряде венчания, согласно воле своего мужа, но уехала сейчас же после службы, не оставшись на ужин. Из семьи присутствовал только Д. Н. Гончаров, который находился тогда в Петербурге, и старая тетка Ек. Ив. Загряжская.

Бар. Густав Фризенгоф – А. П. Араповой // Красная Нива, 1929, № 24

Пушкин не поехал на свадьбу и не принял молодых к себе. Что понудило Дантеса вступить в брак с девушкою, которую он не мог любить, трудно определить; хотел ли он, жертвуя собою, успокоить сомнения Пушкина и спасти женщину, которую любил, от нареканий света; или надеялся он, обманув этим ревность мужа, иметь, как брат, свободный доступ к Наталье Николаевне; испугался ли он дуэли, – это неизвестно.

Н. М. Смирнов // Рус. арх., 1882, I

Муж прислал г-жу Пушкину ко мне в дом на мою свадьбу,

что, по мнению моему, вовсе не означало, что все наши сношения должны были прекратиться.

Е. Геккерен-Дантес. Показание перед военным судом 12 февр. 1837 г. // Дуэль Пушкина с Дантесом.

Подлинное военно-судное дело 1837 г. СПб., 1900

Екатерина Николаевна поселилась с мужем на Невском, в помещении голландского посланника, своего свекра, и стала играть роль хозяйки в посольстве.

П. И. Бартенев // Рус. арх., 1882, I, 235

Геккерн со своим усыновленником Геккерном-Дантесом и его супругою Екатериною Николаевной жил на Невском, в доме Влодека, где ныне пассаж.

П. Бартенев // Рус. арх., 1900, I

На свадебном обеде, данном графом Строгановым в честь новобрачных, Пушкин присутствовал, не зная настоящей цели этого обеда, заключавшейся в условленном заранее некоторыми лицами примирении его с Дантесом. Примирение это однако же не состоялось, и когда после обеда барон Геккерен, отец, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершенно объяснилось, он, вероятно, забудет все прошлое и изменит настоящие отношения свои на более родственные, Пушкин отвечал сухо, что, невзирая на родство, он не желает иметь никаких отношений между его домом и г. Дантесом… Несмотря на этот ответ, Дантес приезжал к Пушкину с свадебным визитом; но Пушкин его не принял.

Вслед за этим визитом, который Дантес сделал Пушкину, вероятно, по совету Геккерена, Пушкин получил второе письмо от Дантеса. Это письмо Пушкин, не распечатывая, положил в карман и поехал к бывшей тогда фрейлине г-же Загряжской, с которою был в родстве. Пушкин через нее хотел возвратить письмо Дантесу; но встретясь у ней с бароном Геккереном, он подошел к нему и, вынув письмо из кармана, просил барона возвратить его тому, кто писал его, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже и имени его он слышать не хочет. Верный принятому им намерению постоянно раздражать Пушкина, Геккерен отвечал, что, так как письмо это было писано к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его. Этот ответ взорвал Пушкина, и он бросил письмо в лицо Геккерену со словами:

– Tu la recevras, gredin (ты его примешь, негодяй)!

После этой истории Геккерен решительно ополчился против

Пушкина.

А. Аммосов

С этого времени мы в семье наслаждались полным счастьем; мы жили обласканные любовью и уважением всего общества, которое наперерыв старалось осыпать нас многочисленными тому доказательствами. Но мы старательно избегали посещать дом г. Пушкина, так как его мрачный и мстительный характер нам был слишком хорошо знаком. С той и с другой стороны отношения ограничивались лишь поклонами.

Бар. Луи Геккерен (старший) – барону Верстолку, 11 февраля 1837 г. // Щеголев

После женитьбы Дантеса государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед. Так как сношения Пушкина с государем происходили через графа Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя графа Бенкендорфа, собственно назначенное для государя. Но письма этого Пушкин не решился посылать, и оно найдено было у него в кармане сюртука, в котором он дрался. В подлиннике я видел его у покойного Павла Ивановича Миллера, который служил тогда секретарем при графе Бенкендорфе; он взял себе на память это не дошедшее по назначению письмо.

П. И. Бартенев со слов П. А. Вяземского // Рус. арх., 1888, III

Гг. Геккерены даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его, с которою встречались только в свете, давать повод к усилению мщения, поносительного как для его чести, так и для чести его жены.

К. К. Данзас. Показание перед военным судом 11 февраля 1837 г. // Дуэль.

Дом Пушкиных оставался закрытым для Геккерна и после брака, и жена его также не появлялась здесь. Но они встречались в свете, и там Геккерен продолжал демонстративно восхищаться своей новой невесткой; он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что, если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого.

Бар. Густав Фризенгоф – А. П. Араповой // Кр. нива, 1929, № 24

Согласно категорически выраженному желанию Ал. Сергеевича, Нат. Ник-на в дом к сестре не ездила, а принимала ее только одну.

А. П. Арапова // Нов. время, 1908, № 11425

После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной. Les revelations d'Alexandrine[37]. При тетке ласка к жене; при Александрине и других, кои могли бы рассказать, – des brusqueries[38]. Дома же веселость и большое согласие.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки // Щеголев

Со дня моей женитьбы, каждый раз, когда он видел мою жену в обществе г-жи Пушкиной, он садился рядом с нею и на замечание, которое она ему однажды по этому поводу сделала, ответил:

– Это для того, чтобы видеть, каковы вы вместе и каковы у вас лица, когда вы разговариваете.

Это случилось у французского посланника на балу за ужином. Он воспользовался моментом, когда я отошел, чтобы приблизиться к моей жене и предложить ей выпить за его здоровье. После отказа он повторил свое предложение, – тот же ответ. Тогда он удалился разъяренный, сказавши ей: «Берегитесь, я вам принесу несчастье!» Моя жена, зная мое мнение об этом человеке, не посмела мне тогда повторить разговор, боясь истории между нами обоими.

Бар. Жорж Геккерен (Дантес) – полковнику Ал. Ив. Бреверну, 26 февраля 1837 г. // А. С. Поляков. О смерти Пушкина. По новым данным. СПб., ГИЗ, 1922

Это новое положение, эти новые отношения мало изменили сущность дела. Молодой Геккерен продолжал, в присутствии своей жены, подчеркивать свою страсть к г-же Пушкиной. Городские сплетни возобновились, и оскорбительное внимание общества обратилось с удвоенной силой на действующих лиц драмы, происходящей на его глазах. Положение Пушкина сделалось еще мучительнее, он стал озабоченным, взволнованным, на него тяжело было смотреть. Но отношения его к жене оттого не пострадали. Он сделался еще предупредительнее, еще нежнее к ней. Его чувства, в искренности которых невозможно было сомневаться, вероятно, закрыли глаза его жене на положение вещей и его последствия. Она должна была бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера, и вот она опять очутилась почти в таких же

отношениях с молодым Геккереном, как и до его свадьбы: тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности. Когда друзья Пушкина, желая его успокоить, говорили ему, что не стоит так мучиться, раз он уверен в невинности своей жены, и уверенность эта разделяется всеми его друзьями и всеми порядочными людьми общества, то он им отвечал, что ему недостаточно уверенности своей собственной, своих друзей и известного кружка, что он принадлежит всей стране и желает, чтобы имя его оставалось незапятнанным везде, где его знают. Вот в каком настроении он был, когда приехали его соседки по имению, с которыми он часто виделся во время своего изгнания. Должно быть, он спрашивал их о том, что говорят в провинции об его истории, и, верно, вести были для него неблагоприятные. По крайней мере, со времени приезда этих дам он стал еще раздраженнее и тревожнее, чем прежде.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февраля 1837 г. // Щеголев

Между тем посланник (которому досадно было, что его сын женился так невыгодно) и его соумышленники продолжали распускать по городу оскорбительные для Пушкина слухи. В Петербург приехали девицы Осиповы, тригорские приятельницы поэта; их расспросы, что значат ходившие слухи, тревожили Пушкина.

П. И. Бартенев со слов кн-ни В. Ф. Вяземской // Рус. арх., 1888, II

В конце концов он совершенно добился того, что его стали бояться все дамы; 16 января, на следующий день после бала, который был у княгини Вяземской, где он себя вел обычно по отношению к обеим этим дамам, г-жа Пушкина, на замечание г. Валуева (П. А., женатого на дочери кн. Вяземского), как она позволяет обращаться с собою таким образом подобному человеку, ответила:

– Я знаю, что я виновата, я должна была бы его оттолкнуть, потому что каждый раз, как он обращается ко мне, меня охватывает дрожь.

Того, что он ей сказал, я не знаю, потому что г-жа Валуева передала мне только начало разговора.

Бар. Ж. Геккерен-Дантес – полк. А. И. Бреверну, 26 февр. 1837 г. // А. С. Поляков. О смерти Пушкина

При г-же Валуевой, в салоне ее матери (кн. В. Ф. Вяземской) он говорил моей жене следующее:

– Берегитесь, вы знаете, что я зол и что я кончаю всегда, что приношу несчастье, когда хочу.

Бар. Ж. Геккерен-Дантес – полк. А. И. Бреверну, 26 февр. 1837 г. // А. С. Поляков. О смерти Пушкина

Вот, по рассказу и уверению Нащокина, самые верные обстоятельства, бывшие причиной дуэли Пушкина. Дантес, красавец собою, ловкий юноша, чуть не дитя, приехал в Петербург и был принят прямо офицером в лейб-гвардию, – почет почти беспримерный и для людей самых лучших русских фамилий. Уже и это не нравилось Пушкину. (Примечание Соболевского: Пушкину чрезвычайно нравился Дантес за его детские шалости.) Дантес был принят в лучшее общество, где на него смотрели, как на дитя, и потому многое ему позволяли, напр., он прыгал на стол, на диваны, облокачивался головою на плечи дам и пр. Дом Пушкина, где жило три красавицы: сама хозяйка и две сестры ее, Катерина и Александра, понравился Дантесу, он любил бывать в нем. Но это очень не нравилось старику, его усыновителю, барону Геккерну, посланнику голландскому. Подлый старик был педераст и начал ревновать красавца Дантеса к Пушкиным. Чтобы развести их, он выдумал, будто Дантес волочится за женою Пушкина. После объяснения Пушкина с Дантесом, последний женился на Катерине Николаевне. Но Геккерн продолжал сплетничать, руководил поступками Дантеса, объяснял их по-своему и наконец пустил в ход анонимные письма. Исход известен. Таким образом несчастный убийца был убийцею невольным. Он говорил, что готов собственною кровью смыть преступление, просил, чтоб его разжаловали в солдаты, послали на Кавказ. Государь, не желая слушать никаких объяснений, приказал ему немедленно выехать.

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине

Необходимость беспрерывно вращаться в неблаговолящем свете, жадном до всяких скандалов и пересудов, щедром на обидные сплетни и язвительные толки; легкомыслие его жены и вдвойне преступное ухаживание Дантеса после того, как он достиг безнаказанности своего прежнего поведения непонятною женитьбой на невестке Пушкина, – вся эта туча стрел, направленных против огненной организации, против честной, гордой и страстной его души, произвела такой пожар, который мог быть потушен только подлою кровью врага его или же собственною его благородною кровью.

Собственно говоря, Наталья Николаевна виновна только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и

беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина. В сущности она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых однако ж из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж иначе был создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам.

Ек. Н. Мещерская-Карамзина – княжне М. И. Мещерской // П-н и его совр-ки, VI

Под конец жизни Пушкина, встречаясь часто в свете с его женою, которую я искренно любил и теперь люблю, как очень добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах (сплетнях), которым ее красота подвергает ее в обществе; я советовал ей быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя, и для счастия мужа, при известной его ревности. Она, верно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. – Разве ты и мог ожидать от меня другого? – спросил я. – Не только мог, – ответил он, – но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женою. Это было за три дня до последней его дуэли.

Имп. Николай I по рассказу бар. М. А. Корфа. Записки // Рус. стар., 1900, т. 101. Ср.: Рус. стар. 1899, т. 99

Отношения (Николая) к жене Пушкина. Сам Пушкин говорил Нащокину, что (Николай), как офицеришка, ухаживает за его женою; нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру, на балах, спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. Сам Пушкин сообщал Нащокину свою совершенную уверенность в чистом поведении Нат. Ник-ны.

П. В. Нащокин по записи Бартенева // Рассказы о Пушкине

Вот что рассказывал граф Сологуб Никитенке о смерти Пушкина. В последний год своей жизни Пушкин решительно искал смерти. Тут была какая-то психологическая задача. Причины никто не мог знать, потому что Пушкин был окружен шпионами: каждое слово его, сказанное в кабинете самому искреннему другу, было известно правительству. Стало быть, что таилось в душе его, известно только богу… Разумеется, обвинения пали на жену Пушкина, что она будто бы была в связях с Дантесом. Но Сологуб уверяет, что это сущий вздор. Жена

Пушкина была в форме красавица, и поклонников у ней были целые легионы. Немудрено, стало быть, что и Дантес поклонялся ей, как красавице; но связей между них никаких не было. Подозревают другую причину. Жена Пушкина была фрейлиной[39] при дворе, так думают, что не было ли у ней связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти.

Н. И. Иваницкий. Воспоминания и дневник // Пушкин и его совр-ки, XIII

Граф В. А. Сологуб писал, что Пушкин в припадках ревности брал жену к себе на руки и с кинжалом допрашивал, верна ли она ему.

П. И. Бартенев // Рус. арх., 1908, II

По мнению А. А. Муханова, с Пушкиным не произошла бы катастрофа, если бы на то время случился при нем в Петербурге С. А. Соболевский. Этот человек пользовался безусловным доверием Пушкина и непременно сумел бы отвратить от него роковую дуэль.

М. И. Семевский. К биографии Пушкина // Рус. вестн., 1869, № 11

Александр прислал нам письмо, но в нем было всего несколько строк к моему мужу, набросанных наскоро в ответ на письмо, написанное еще в июле месяце и которое он понял прямо навыворот, не дав себе труда дочитать его до конца, и он ни словом не упоминает о двух других письмах, которые мой муж написал ему отсюда. Видимо, он очень занят и в дурном расположении духа.

О. С. Павлищева (сестра Пушкина) – отцу своему С. Л. Пушкину, 3 февр. 1837 г., из Варшавы // Пушкин и его совр-ки, XII

Незадолго до кончины Пушкин перечитывал ваши сочинения и говорил о них с живейшим участием и уважением. Особенно удивлялся он мастерской отделке вашего шестистопного стиха в переводах Попе и Ювенала. Козловский убеждал его перевесть Ювеналову сатиру «Желания», и Пушкин изучал прилежно данные вами образцы.

Кн. П. А. Вяземский – И. И. Дмитриеву, 17 июня 1837 г. // Рус. арх., 1886

За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: «эту выползину я теперь не скоро сброшу». Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи, и Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он, действительно, не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января 1837 г., чтобы облегчить смертельную муку от раны.

П. И. Бартенев // Рус. арх., 1862

Последнее время мы часто видались с Пушкиным и очень сблизились; он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные… Никто так хорошо не судил русскую новейшую историю: он созревал для нее и знал и отыскал в известность многое, чего другие не заметили. Разговор его был полон жизни и любопытных указаний на примечательные пункты и на характеристические черты нашей истории. Ему оставалось дополнить и передать бумаге свои сведения.

А. И. Тургенев – И. С. Аржевитинову, 30 янв. 1837 г. // Рус. арх., 1903, I

Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз – за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардта. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых, крупных зубов, висячие бакенбарды, темные, желчные глаза под высоким лбом почти без бровей – и кудрявые волосы… Он и на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: – он словно с досадой повел плечом, – вообще, он казался не в духе, – и отошел в сторону.

И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания // Литер. вечер у П. А. Плетнева.

В среду, ровно за неделю до дуэли, Пушкин был у Плетнева, и говорят, очень много и весело говорил.

Н. И. Иваницкий. Воспоминания и дневник // Пушкин и его совр-ки, XIII

(21 января 1837 г.) Вечер провел у Плетнева. Там был Пушкин. Он сделался большим аристократом. Как обидно, что он

так мало ценит себя, как человека и поэта, и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. Он хочет прежде всего быть барином, но ведь у нас барин тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеманный тон, эта утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опала. А ведь он умный человек, помимо своего таланта. Он, напр., сегодня много говорил дельного и, между прочим, тонкого о русском языке. Он сознавался также, что историю Петра пока нельзя писать, т. е. не позволят печатать. Видно, что он много читал о Петре.

А. Никитенко

Незадолго до смерти Пушкина я был у него, и он, беседуя со мной наедине о разных предметах, между прочим коснулся супружеской жизни и в самых красноречивых выражениях изобразил мне счастье благополучного супружества. А сам вскоре поражен был смертью, как жертва легкомысленной, кокетливой жены, которая, без дурных с ее стороны намерений, сделалась виновницей сплетней, злоречия и скандала, окончившегося этим гибельным дуэлем.

Григ. Павл. Небольсин, член Госуд. совета и секретарь. «Моим детям и внукам». Неизданные записки. Сообщ. Н Е. Рогозиным и Г. А. Небольсиным

Написать записки о моей жизни мне завещал Пушкин у Обухова моста во время прогулки за несколько дней до своей смерти. У него тогда было какое-то высокорелигиозное настроение. Он говорил со мною о судьбах Промысла, выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем, видел это качество во мне, завидовал моей жизни.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 24 февр. 1842 г. // Переписка Грота с Плетневым, т. I, СПб., 1896

Незадолго до своей смерти Пушкин задумчиво рассказывал одному из своих друзей о том, что все важнейшие события его жизни совпадали с днем Вознесения, и передал ему твердое свое намерение выстроить со временем в селе Михайловском церковь во имя Вознесения Господня. Упоминая о таинственной связи своей жизни с одним великим днем духовного торжества, он прибавил: «Ты понимаешь, что все это произошло недаром и не может быть делом одного случая».

П. В. Анненков. Материалы

22 января 1837 г., пятница. На балу я не танцевала. Было

слишком тесно. В мрачном молчании я восхищенно любовалась г-жою Пушкиной. Какое восхитительное создание! Дантес провел часть вечера неподалеку от меня. Он оживленно беседовал с пожилою дамою, которая, как можно было заключить из долетавших до меня слов, ставила ему в упрек экзальтированность его поведения. Действительно, – жениться на одной, чтобы иметь некоторое право любить другую, в качестве сестры своей жены, – боже! для этого нужен порядочный запас смелости…

Я не расслышала слов, тихо сказанных дамой. Что же касается Дантеса, то он ответил громко, с оттенком уязвленного самолюбия:

– Я понимаю то, что вы хотите дать мне понять, но я совсем не уверен, что сделал глупость!

– Докажите свету, что вы сумеете быть хорошим мужем… и что ходящие слухи не основательны.

– Спасибо, но пусть меня судит свет.

Минуту спустя я заметила проходившего А. С. Пушкина. Какой урод! Рассказывают. – Но как дерзать доверять всему, о чем болтают?! Говорят, что Пушкин, вернувшись как-то домой, застал Дантеса tete-a-tete со своею супругою. Предупрежденный друзьями, муж давно уже искал случая проверить свои подозрения; он сумел совладать с собою и принял участие в разговоре. Вдруг у него явилась мысль потушить лампу. Дантес вызвался снова ее зажечь, на что Пушкин отвечал: «Не беспокойтесь, мне, кстати, нужно распорядиться насчет кое-чего»… Ревнивец остановился за дверью, и через минуту до слуха его долетело нечто похожее на звук поцелуя…

Впрочем, о любви Дантеса известно всем. Ее, якобы, видят все. Однажды вечером я сама заметила, как барон, не отрываясь, следил взорами за тем углом, где находилась она. Очевидно, он чувствовал себя слишком влюбленным для того, чтобы, надев маску равнодушия, рискнуть появиться с нею среди танцующих.

А. К. Мердер. Листки из дневника // Рус. стар., 1900, т. 103

На разъезде с одного бала Геккерен, подавая руку жене своей, громко сказал, так что Пушкин слышал: Allons, ma legitime![40]

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской // Рус. арх., 1888, II

В свое время мне рассказывали, что поводом (к последнему вызову Пушкиным Геккерена) послужило слово, которое Геккерн бросил на одном большом вечере, где все они присутствовали; там находился буфет, и Геккерн, взяв тарелку с фруктами, будто бы сказал, напирая на последнее слово: «это для моей законной».

Слово это, переданное Пушкину с разъяснениями, и явилось той каплей, которая переполнила чашу.

Бар. Густав Фризенгоф – А. П. Араповой, 14 марта 1887 г. // Красная нива, 1929, № 4, с. 10

На одном вечере Геккерен, по обыкновению, сидел подле Пушкиной и забавлял ее собою. Вдруг муж, издали следивший за ними, заметил, что она вздрогнула. Он немедленно увез ее домой и дорогою узнал от нее, что Геккерен, говоря о том, что у него был мозольный оператор, тот самый, который обрезывал мозоли Наталье Николаевне, прибавил: il m'a dit que le cor de madame Pouchkine est plus beau que le mien[41]. Пушкин сам передавал об этой наглости княгине Вяземской.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской

Бал у Воронцовых, где, говорят, Геккерен был сильно занят г-жей Пушкиной, еще увеличил его раздражение. Жена передала ему остроту Геккерена, на которую Пушкин намекал в письме к Геккерену-отцу, по поводу армейских острот. У обеих сестер был общий мозольный оператор, и Геккерен сказал г-же Пушкиной, встретив ее на вечере: «je sais maintenant que votre cor est plus beau, que celui de ma femme!»[42] Вся эта болтовня, все эти мелочи растравляли рану Пушкина.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февр. 1837 г. // Щеголев

В Петербурге Александр Сергеевич последнее время каждый день посещал мою жену (баронессу Евпраксию Николаевну), которая остановилась у брата моего Степана, и целые часы говорил с нею о том, как бы сохранить Михайловское и приехать туда этим летом жить с женою и детьми.

Бар. Б. А. Вревский – С. Л. Пушкину // Пушкин и его совр-ки, VIII

Встретившись за несколько дней до дуэли с баронессой Вревской в театре, Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерти. Тщетно та продолжала его успокаивать, как делала то при каждой с ним встрече. Пушкин был непреклонен. Наконец она напомнила ему о детях его. – «Ничего, – раздражительно отвечал он, – император, которому известно все мое дело, обещал мне взять их под свое покровительство».

М. И. Семевский со слов бар. Е. Н. Вревской. К биографии Пушкина // Рус. вестн., 1869, № 11

С Пушкиным у Л. А. Якубовича (поэта) была дружба неразрывная. Перед смертью Пушкина приходим мы, я и Якубович, к Пушкину. Пушкин сидел на стуле; на полу лежала медвежья шкура; на ней сидела жена Пушкина, положа свою голову на колени к мужу. Это было в воскресенье; а через три дня уже Пушкин стрелялся. Здесь Пушкин горячо спорил с Якубовичем и спорил дельно. Здесь я слышал его предсмертные замыслы о Слове Игорева полка – и только при разборе библиотеки Пушкина видел на лоскутках начатые заметки.

Тогда же Пушкин показывал мне и дополнения к Пугачеву, собранные им после издания. Пушкин думал переделать и вновь издать своего Пугачева.

И. П. Сахаров. Записки // Рус. арх., 1873, I

Якубович рассказывал при мне у Никитенки, что он 27 января, в среду (24 янв. в воскресенье), был у Пушкина с Сахаровым часу во втором. Пушкин был очень сердит и беспрестанно бранил Полевого за его Историю: ходил скоро взад и вперед по кабинету, хватал с полки какой-нибудь том Истории Полевого и читал для выдержки… Якубович и Сахаров ушли от него в третьем часу.

Н. И. Иваницкий. Из автобиографии // Пушкин и его совр-ки, XIII

24 янв. 1837 г. взято Пушкиным у Шишкина 2200 р. под залог шалей, жемчуга и серебра.

Б. Л. Модзалевский. Архив опеки над имуществом Пушкина // Пушкин и его совр-ки, XIII

В воскресенье (перед поединком Пушкина) А. О. Россет пошел в гости к кн. П. И. Мещерскому (зятю Карамзиной, они жили в доме Вельегорских) и из гостиной прошел в кабинет, где Пушкин играл в шахматы с хозяином. – «Ну, что, – обратился он к Россету, – вы были в гостиной; он уж там, возле моей жены?» Даже не назвал Дантеса по имени. Этот вопрос смутил Россета, и он отвечал, заминаясь, что Дантеса видел. – Пушкин был большой наблюдатель физиономий; он стал глядеть на Россета, наблюдал линии его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, и Пушкин стал громко хохотать над смущением 23-летнего офицера.

Арк. О. Россет. Из рассказов его про Пушкина // Рус. арх., 1882, I

Мы можем сообщить личное и общее впечатление, что дуэль

не была вызвана какими-либо обстоятельствами, которые можно было бы определить или оправдать. Грязное анонимное письмо не могло дать повода; плохие каламбуры свояка еще менее. Не ревность мучила Пушкина, а до глубины души пораженное самолюбие.

Отец мой в письмах своих употребляет неточное выражение, говоря, что Геккерен (Дантес) афишировал страсть: Геккерен постоянно балагурил и из этой роли не выходил до последнего вечера в жизни, проведенного с Н. Н. Пушкиной. Единственное объяснение раздражению Пушкина следует видеть не в волокитстве молодого Геккерена, а в уговаривании стариком бросить мужа. Этот шаг старика и был тем убийственным оскорблением для самолюбия Пушкина, которое должно было быть смыто кровью. Дружеские отношения жены поэта к свояку и сестре, вероятно, питали раздраженную мнительность Пушкина.

Кн. Пав. П. Вяземский. Собр. соч.

Прекратившиеся было анонимные наветы снова посыпались на Пушкина. Они пытались злорадно изобличить, что брак служил только ловким прикрытием прежних разоблаченных отношений.

А. П. Арапова // Новое время, 1908, № 11425

Вследствие многочисленных анонимных писем, почерк которых менялся постоянно, но которые носили характер несомненного тождества и, благодаря этому, являлись доказательством злостной интриги, Пушкин написал голландскому послу, барону Геккерену, оскорбительное письмо.

Луи Метман. Ж. Ш. Дантес. Биографический очерк // Щеголев

Мне говорил курьер, которого я послал к Александру Сергеевичу (с приглашением на похороны сына Греча), – тамошнее лакейство ему сказывало, что их барин эти дни словно в каком-то расстройстве: то приедет, то уедет куда-то, загонял несколько парных месячных извозчиков, а когда бывает дома, то свищет несколько часов сряду, кусает ногти, бегает по комнатам. Никто ничего понять не может, что с ним делается.

Н. И. Юханцев в передаче В. П. Бурнашева // Рус. арх., 1872

Жена Пушкина, безвинная вполне, имела неосторожность обо всем сообщать мужу и только бесила его. Раз они возвращались из театра. Старик Геккерен, идя позади, шепнул ей, когда же она склонится на мольбы его сына? Наталья Николаевна побледнела, задрожала. Пушкин смутился, на его вопрос она ему передала

слова, ее поразившие. На другой же день он написал к Геккерену свое резкое и дерзкое письмо.

А. И. Васильчикова по записи Бартенева // Рассказы о Пушкине

Поведение Дантеса после свадьбы дало всем право думать, что он точно искал в браке не только возможности приблизиться к Пушкину, но также предохранить себя от гнева ее мужа узами родства. Он не переставал волочиться за своею невесткою; он откинул даже всякую осторожность, и казалось иногда, что насмехается над ревностью не примирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальей Николаевной, за ужином пил за ее здоровье; словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь. Барон же Геккерен стал явно помогать ему, как говорят, желая отомстить Пушкину за неприятный ему брак Дантеса. Пушкин все видел, все замечал и решился положить этому конец. На бале у Салтыкова (где ныне гостиница Гранд-Отель, на Малой Морской. – *Прим. Бартенева*) он хотел сделать публичное оскорбление Дантесу, который был предуведомлен и не приехал на бал, что понудило Пушкина на другой день послать ему письменный вызов и вместе с тем письмо к Геккерену, в котором Пушкин ему объявляет, что знает его гнусное поведение.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки // Рус. арх., 1882, I

Геккерен (Дантес) написал Наталье Николаевне письмо, которое было – вопль отчаяния с первого до последнего слова. Цель его была добиться свидания. «Он жаждал только возможности излить ей всю свою душу, переговорить только о некоторых вопросах, одинаково важных для обоих, заверял честью, что прибегает к ней единственно, как к сестре его жены, и что ничем не оскорбит ее достоинство и чистоту». Письмо, однако же, кончалось угрозою, что, если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, он не в состоянии будет пережить подобное оскорбление. Отказ будет равносилен смертному приговору, а может быть даже и двум. Жена, в своей безумной страсти, способна последовать данному им примеру, и, загубленные в угоду трусливому опасению, две молодые жизни вечным гнетом лягут на ее бесчувственную душу.

Года за три перед смертью Наталья Николаевна рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас. С ее слов я узнала, что, дойдя до этого эпизода,

мать со слезами на глазах сказала: «Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание… Свидание, за которое муж заплатил своею кровью, а я – счастьем и покоем своей жизни. Бог свидетель, что оно было столь же кратко, сколько невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве страдания… Но кто допустит его искренность».

Местом свидания была избрана квартира Идалии Григорьевны Полетика, в кавалергардских казармах, так как муж ее состоял офицером этого полка. Она была полуфранцуженка, побочная дочь графа Григория Строганова, воспитанная в доме на равном положении с остальными детьми, и, в виду родственных связей с Загряжскими, Наталья Николаевна сошлась с ней на дружественную ногу. Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех. В числе ее поклонников самым верным, искренно влюбленным и беззаветно преданным был в то время кавалергардский ротмистр Петр Петрович Ланской (будущий второй муж Наталии Николаевны Пушкиной). Хорошо осведомленная о тайных агентах, следивших за каждым шагом Пушкиной, Идалия Григорьевна, чтобы предотвратить опасность возможных последствий, поручила Ланскому, под видом прогулки около здания, зорко следить за всякой подозрительной личностью, могущей появиться близ ее подъезда.

Несмотря на бдительность окружающих и на все принятые предосторожности, не далее, как через день, Пушкин получил злорадное извещение от того же анонимного корреспондента о состоявшейся встрече. Он прямо понес письмо к жене.

Она не отперлась, но поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что свидание не имело того значения, которое она предполагала, и было лишь хитростью влюбленного человека. Это открытие возмутило ее до глубины души, и, тотчас же, прервав беседу, она твердо заявила Геккерену, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям, и что это первое, его угрозами вынужденное, свидание станет последним.

Приведенное объяснение имело последствием вторичный вызов на дуэль Геккерена, но уже составленный в столь резких выражениях, что отнята была всякая возможность примирения.

А. П. Арапова // Новое время, 1908 г., № 11425

Наталья Николаевна получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить ее, и когда она прибыла туда, то застала там Геккерна вместо хозяйки дома; бросившись перед нею на колени, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей (Алекс. Ник. Гончаровой), что это свидание длилось несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала.

Бар. Густав Фризенгоф – А. П. Араповой // Красная нива, 1929, № 24

Мадам N. N. (Идалия Григорьевна Полетика), по настоянию Геккерна, пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастию, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской // Рус. арх., 1888

Идалия Григорьевна Полетика, овдовев, жила до глубокой старости в Одессе; в доме брата своего гр. А. Г. Строганова. Она не скрывала своей ненависти к памяти Пушкина… Она собиралась подъехать к памятнику Пушкина, чтобы плюнуть на него. Дантес был частым посетителем Полетики и у нее видался с Наталией Николаевной, которая однажды приехала оттуда к княгине Вяземской вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Дантеса. Кажется, дело было в том, что Пушкин не внимал сердечным излиянием невзрачной Идалии Григорьевны и однажды, едучи с нею в карете, чем-то оскорбил ее.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской // Рус. арх., 1908, III

Идалия Григорьевна Полетика заявляет большую нежность к памяти Наталии Николаевны. Она рассказывает, что однажды они ехали в карете, и напротив сидел Пушкин. Он позволил себе схватить ее за ногу. Нат. Ник. пришла в ужас, и потом по ее настоянию Пушкин просил у нее прощения.

Есть повод думать, что Пушкин, зная свойства Идалии, оскорблял ее, и она, из мести, была сочинительницей анонимных писем, из-за которых произошел поединок.

П. И. Бартенев. Из записной книжки // Рус. арх., 1912, II

Идалия была дочь гр. Григория Строганова от модистки, французской гризетки. Эта молодая девушка была прелестна, умна, благовоспитанна, у нее были большие, голубые, ласковые и кокетливые глаза, и графиня Строганова выдала ее замуж за Полетику, человека очень хорошего происхождения и с порядочными средствами.

А. О. Смирнова. Автобиография

25 янв. 1837 г. Сегодня в нашей мастерской были Пушкин и Жуковский. Сошлись они вместе, и Карл Павлович (Брюллов) угощал их своею портфелью и альбомами. Весело было смотреть, как они любовались и восхищались его акварельными рисунками; но когда он показал им недавно оконченный рисунок: «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне», то восторг их выразился криком и смехом. Да и можно ли глядеть без смеха на этот прелестный, забавный рисунок? Смирнский полицейместер, спящий посреди улицы на ковре и подушке, такая комическая фигура, что на нее нельзя глядеть равнодушно. Позади него за подушкой, в тени, видны двое полицейских стражей: один сидит на корточках, другой лежит, упершись локтями в подбородок и болтая босыми ногами, обнаженными выше колен; эти ноги, как две кочерги, принадлежащие тощей фигуре стража, еще более выдвигают полноту и округлость форм спящего полицейместера, который, будучи изображен в ракурс, кажется от того еще толще и шире. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Брюллова подарить ему это сокровище; но рисунок принадлежал уже княгине Салтыковой, и Карл Павлович, уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой; Пушкин был безутешен; он, с рисунком в руках, стал перед Брюлловым на колени и начал умолять его: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня; отдай мне этот». Не отдал Брюллов рисунка, а обещал нарисовать другой.

А. И. Мокрицкий. Воспоминания о Брюллове // Отеч. запис., 1855

Я не понимаю, почему Мокрицкий передавал это обстоятельство без конца, который он сам мне рассказал и который, по-моему, очень важен. Брюллов не отдал Пушкину рисунка, сказав, что рисунок был уже продан княгине Салтыковой, но обещал Пушкину написать с него портрет и назначил время для сеанса. На беду дуэль Пушкина состоялась днем ранее назначенного сеанса. По словам Брюллова, «картишки и дуэли были слабостью Пушкина».

М. И. Железнов. Заметка о К. П. Брюллове // Живоп. обозр., 1898, № 31

Пушкин посетил И. А. Крылова за день или за два до своей дуэли с Дантесом; он был особенно весел, говорил г-же Савельевой (крестнице Крылова) любезности, играл с ее малюткой-дочерью, потом вдруг, как будто вспомнив о чем-то, торопливо простился с Крыловым.

А. П. Савельева в передаче Л. Н. Трофелева // Рус. арх., 1887, т. 55

25 января Пушкин и молодой Геккерен с женами провели у нас вечер. И Геккерен, и обе сестры были спокойны, веселы, принимали участие в общем разговоре. В этот самый день уже было отправлено Пушкиным барону Геккерену оскорбительное письмо.

Кн. Павел Вяземский. Собр. соч.

Пушкин, смотря на Жоржа Геккерена, сказал мне: «Что меня забавляет, так это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что его ожидает по возвращении домой». – «Что же именно? – сказала я. – Вы ему написали?» Он мне сделал утвердительный знак и прибавил: «Его отцу». – «Как, письмо уже отослано?» Он мне сделал еще знаки. Я сказала: «Сегодня?» Он потер себе руки, повторяя головой те же знаки. «Неужели вы думаете об этом? – сказала я. – Мы надеялись, что все уже кончено». Тогда он вскочил, говоря мне: «Разве вы принимали меня за труса? Я вам уже сказал, что с молодым человеком мое дело было окончено, но с отцом – дело другое. Я вас предупредил, что мое мщение заставит заговорить свет». Все ушли. Я удержала Вьельгорского и сказала ему об отсылке письма.

Кн. В. Ф. Вяземский – В. Н. Орловой // Новый мир, 1931, кн. 12

Князя Вяземского не было дома. Княгиня умоляла В. А. Перовского и гр. М. Ю. Вельегорского дождаться князя и вместе обсудить, какие надо принять меры. Не дождавшись почти до утра, они разошлись. Князь, вероятно, был у Карамзиных, где обыкновенно засиживался последним.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской // Рус. арх., 1888, II и 1908, II

Л. Н. Павлищев
Кончина Александра Сергеевича Пушкина

Человек яко трава, дние его яко цвет сельный тако отцветет, яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает к тому места своего…

Псалом 102

Наша литература обильна повествованиями о насильственной кончине родного брата матери моей, Ольги Сергеевны Павлищевой, – достославной памяти Александра Сергеевича Пушкина.

Пушкин принадлежит всей читающей России, а тем более своим ближайшим кровным родным, оплакивающим его безвременный конец.

Многочисленные рассказы о причинах его поединка с Дантесом-Геккереном основаны на данных более или менее достоверных, но так как всякая подробность, касающаяся кончины моего дяди, представляет для каждого русского несомненный интерес, то предаю гласности настоящее мое исследование, на основании имеющихся у меня бумаг, к числу которых между прочим относятся: 1. письма моей матери к ее отцу, Сергею Львовичу Пушкину; 2. письма прочих ее знакомых и родных, и, наконец, 3. мой собственный рукописный дневник, куда я заносил мои беседы как с моей матерью, так и со вдовой поэта – Натальей Николаевной – по второму браку Ланской, – и с его современниками-друзьями, покойными: князем П. А. Вяземским, П. А. Плетневым, Ф. Ф. Вигелем, С. А. Соболевским, князем В. Ф. Одоевским, Я. И. Сабуровым и другими.

Часть моих воспоминаний о моем незабвенном дяде, под заглавием «Из семейной хроники», появилась в 12-ти книжках «Исторического Вестника» за 1888 год, и вышла отдельным изданием в Москве, в 1890 году («Воспоминания об А. С. Пушкине»). Вторая часть «Хроники», в том же 1890 году появилась в «Русском Обозрении», тоже в Москве, и, наконец, третья – в «Русской Старине», в сентябрьской книжке 1896 года.

Затем и это критическое исследование тоже не колеблюсь предать гласности, причем должен сознаться, что мне было не в пример тяжелее, чем всякому другому биографу Пушкина, писать

о поединке родного брата моей матери: он для меня не столько первоклассный гений, сколько ближайший, кровный родной. Тем не менее, излагаю как нельзя беспристрастнее разобранное мною дело, в котором, по выражению покойного друга поэта, князя Петра Андреевича Вяземского, многое «оставалось темным и таинственным».

Печатается по: *Л. Павлищев.* Кончина Александра Сергеевича Пушкина. СПб., 1899.

I

Известие о кончине Пушкина. – Положение сестры его Ольги Сергеевны Павлищевой и взгляд ее на это событие. Положение отца поэта. – Ложные слухи

Мученическая, безвременная кончина незабвенной памяти моего дяди Александра Сергеевича Пушкина, поразив всю Россию, нанесла ужасный удар как очерненной великосветской молвой безвинной его супруге, так и его отцу, равномерно и отсутствовавшим в роковые дни сестре и брату – Льву Сергеевичу Пушкину.

Сестра поэта, моя мать Ольга Сергеевна Павлищева, была в Варшаве, Лев Сергеевич сражался на Кавказе, а Сергей Львович Пушкин гостил у зятя своего, Матвея Михайловича Сонцова, в Москве, после кончины жены Надежды Осиповны, умершей за 10 месяцев до катастрофы. Дед мой узнал о смерти сына в половине февраля 1837 года, как видно из письма к нему В. А. Жуковского, а мой дядя Лев гораздо позднее. Раньше их обоих получила роковое известие моя мать от г. Софианоса, служившего в дипломатической канцелярии наместника в Царстве Польском, генерал-фельдмаршала князя И. Ф. Паскевича-Варшавского, графа Эриванского.

Это известие так страшно подействовало на сестру поэта, что она подверглась нервной горячке, во время приступов которой то вскакивала с криком: «Пустите меня к брату! безбожники, безбожницы его режут, мясо его едят», то, простирая руки к воображаемой тени убитого, говорила: «Куда уходишь, Саша? Я так счастлива, что тебя вижу, слышу твой голос милый!..»

Отец мой, Николай Иванович Павлищев, заключает письмо к своей матери, Луизе Матвеевне, словами: «Тут пролил бы слезы и самый бессердечный человек!»

В эти скорбные дни и русское, и польское общество в Варшаве поспешили выразить Ольге Сергеевне сердечное соболезнование:

квартира моих родителей осаждалась множеством лиц, даже и незнакомых, оставлявших визитные карточки.

«Недаром, – диктовала мне впоследствии мать, – обстоятельства сложились для брата фатально: Александр, до тех пор откровенный с родными, утаил от них перед поединком именно то, чего не следовало утаивать. Судьбе не угодно было ни мое присутствие, ни присутствие брата Леона, ни преданного друга Соболевского, которые могли бы приехать, протянуть брату вовремя спасительную руку помощи. Но брат все скрывал от всех нас».

Припоминала она свое предсказание брату по его руке, а также предсказание гадальщицы немки Кирхгоф[43], к которой Пушкин, еще задолго до смерти, заходил со своим приятелем Всеволожским. Придавая значение предчувствиям, Ольга Сергеевна рассказала мне, что брат ее, на ее замечание о Дантесе (встреченном ею у брата на Каменноостровской даче летом 1836 года) «comme il est beau» («как он хорош собой»), отвечал сестре: «Правда, он хорош собой, но его рот, хотя и красив, однако, как нельзя более неприятен; улыбка же его мне совсем не нравится». «Казалось, – прибавила Ольга Сергеевна, – внутренний голос подсказывал Александру остерегаться этого человека».

Говоря о том, как отнеслась моя мать к ужасному событию, считаю уместным привести продиктованные мне ею следующие строки, воздерживаясь от всяких комментариев:

«Покойный Александр был для меня, отца и младшего брата Льва не генерал от поэзии, а нашей родной кровью. Конечно, испытанные друзья были ему тоже преданы, но меня бесит, когда чужие люди меня уверяют, будто бы их скорбь об утрате *величайшего* поэта (любимое выражение этих господ) едва ли не превосходит скорбь отца и мою. А на поверку большинство таких непрошеных мнимых плакальщиков (La plupart de ces soi-disant pleu-reurs), готовых при жизни Александра утопить его в столовой ложке, узнав о его смерти, натерли – Бог меня прости – глаза луком, чтобы почувствительней ломать комедию. Из них завистники Александра и жалкие рифмоплеты (ces rimailleurs a faire pitie) служили в душе молебен о здоровье Дантеса да сочинителей анонимных пасквилей. Их раскусил как нельзя лучше достойный преемник Александра, Михаил Лермонтов, непритворное негодование которого вылилось в стихотворении на кончину брата – истинно надгробном слове, за что, впрочем, он и поплатился. В сладчайших же словах презренных, фальшивых людишек мне слышится какой-то не то иезуитский, не то насмешливый оттенок не совсем хорошего тона. Высокопарные фразы лишены искренности, уподобляясь сказкам, от которых

можно заснуть стоя».

Скорбь отца поэта не поддается никакому описанию. Ограничиваюсь выдержкой из письма Ольги Сергеевны к ее мужу, отцу моему, в 1841 году из Петербурга.

Рассказывая о свидании с Сергеем Львовичем в первый раз по кончине брата-поэта, она пишет:

«Отец не заметил моего прихода. Он бросил, – когда я его окликнула, – газету, сигару, кинулся ко мне на шею и сказал рыдая (по обыкновению по-французски): «Наконец вижу тебя, Олинька! Какое отрадное и какое грустное душевное волнение! Нет Александра! Зарезали его!» Потом, несколько успокоясь, продолжал по-русски: «Нет у меня больше моей жены, моей *Надежды!* Вот и тут я не утерпел обойтись без меткого каламбура! Довелось мне на старости лет шататься, как пария, на мерзкой земле! После жены лишился сына, и какого сына: светила нашего отечества! Но да будет воля неба…»

…Одиночество отцу невыносимо: несчастный, одинокий старик утешает себя воспоминаниями о сыне и мечтами о духовном мире. Всякий день, несмотря на погоду, отправляется пешком в Казанский собор, где и вынимает часть об упокоении души положившего жизнь на поле чести болярина Александра. Возвратясь от обедни, читает духовные книги – сочинения Масильона, Боссюэ, Сведенборга. В четыре часа обедает, а вечером навещает вдову и друзей покойного сына поговорить об усопшем. Но такие беседы лишь увеличивают его грусть».

Положение старика Пушкина действительно было плачевно, после перенесенных им, в течение менее чем года, потерь жены (матери восьми детей)[44] и сына…

…Лев Сергеевич Пушкин – младший брат поэта, получив известие о его кончине, сам в то время ежедневно рисковал жизнью в Большой Чечне, отличаясь в экспедиции генерала Фези против горцев.

Между тем в Варшаве, через месяц после дуэли Пушкина, разнесся слух, якобы его брат отпросился в заграничный отпуск, с целью отыскать Дантеса и вызвать его на поединок.

Опровергая этот слух, моя мать писала Сергею Львовичу следующее:

«Не верьте басне, которая, может быть, рассказывается и у вас. Брат Леон по-прежнему на Кавказе и меряется с противниками, хотя и грубыми варварами, но более достойными, чем образованный мирлифлер (mirlifore)[45] Дантес, который и без того признается на обоих полушариях тем, чем заслуживает как убийца Пушкина. Сказка о Леоне похожа на здешний варшавский вздор, ходивший между некоторыми поляками,

поклонниками брата, будто бы Мицкевич успел уже в Париже отомстить смерть его, то есть застрелить Дантеса на поединке. Чего не выдумают праздные пустомели!»

Лев Сергеевич отсутствовал из Петербурга уже давно, не имея никакого понятия об окружавшем его брата столичном обществе, и подавно о Дантесе. В противном случае, как он говорил Ольге Сергевне в 1848 году, он явился бы в Петербург и употребил бы всевозможные старания спасти поэта от рокового шага.

II

Геккерен-старший. – Характеристика его и усыновленного им Дантеса. – Отношения их к супругам Пушкиным

Нидерландский посланник при Петербургском дворе, барон Геккерен, был, по выражению автора статьи «Puschkin und Dantes», напечатанной в Лейпцигском издании «Petersburger Gesellschaft», *Нестором развратной молодежи, но, однако, уважение к нему было прочно.* Он пленился до такой степени красивой наружностью юной жертвы июльской революции – Георга Дантеса – что вскоре, по приезде в Россию этого французского легитимиста «на ловлю счастья и чинов», усыновил его, с передачей своей фамилии и титула. Оба они, посещая высшее петербургское общество, бывали на раутах графинь Разумовской и Фикельмон – жены австрийского посланника, – а также в салонах князей Вяземского, Одоевского и в доме историографа Карамзина, женатого на сестре князя Вяземского. В этот последний дом старик Геккерен попал, впрочем, не раньше 1835 года.

Моя мать его не видела; он приехал в Петербург, когда она находилась в Варшаве, а летом 1836 года не бывал при ней у Пушкиных. Лично не знал старика Геккерена и младший брат поэта, но, беседуя о Геккерене с сестрою, осенью 1848 года, Лев Сергеевич причислял его, Геккерена, к бессердечным эгоистам; в усыновлении же Дантеса мой дядя Лев видел нечто *очень темное и таинственное,* как он выразился Ольге Сергеевне.

Точно так же отзывался о голландском посланнике и знаменитый Филипп Филиппович Вигель, который, будучи в 1837 г. директором департамента иностранных исповеданий министерства внутренних дел, скрепил письменное разрешение в январе того года *на брак иноверца барона Георга Дантеса-Геккерена с православной девицей Екатериной Гончаровой.* Хотя Вигель не был особенно тароват на раздачу одобрительных

аттестатов роду человеческому, но отзывы его о Геккерене, как о развратном интригане, с которым он часто встречался в большом петербургском свете, совпадали с мнениями многих, в том числе личного недоброжелателя его, Вигеля, Сергея Александровича Соболевского. Вигель утверждал, что злой и развратный Геккерен, следуя иезуитскому правилу – цель оправдывает средства, – заключил с подобными себе экземплярами союз против Пушкина оборонительный и наступательный.

По мнению Льва Сергеевича Пушкина, известные слова Геккерена жене поэта, приведенные сим последним в роковом его письме дипломату: «Rendez moi mon fls» (возвратите мне моего сына), были сказаны вовсе не с целью, как полагает моя мать, испросить у Натальи Николаевны ее согласие в ходатайстве у ее сестры, Екатерины Николаевны Гончаровой, относительно брака Дантеса с этой последней, а были произнесены совершенно с другим умыслом: Геккерен вовсе-де не желал этой свадьбы, уверяя, что благословил своего приемного сына совершенно против своей воли, а лишь по настойчивым просьбам Дантеса. Точно так же нельзя не принять в соображение и других слов Геккерена-старшего, сказанных той же Наталье Николаевне Пушкиной, с целью рассорить ее с мужем: «Вам нужен не такой муж, как ваш, и на вашем месте я бы с ним уже давно расстался». Эту фразу Геккерен отпустил, по словам Льва Сергеевича, Наталье Николаевне на вечере у Фикельмонов, чему свидетелем был, в числе прочих, и Вигель, рассказавший это Льву Сергеевичу при свидании с братом поэта впоследствии в Петербурге.

Затем, после свадьбы Дантеса с Гончаровой, Геккерен, задавшись целью дразнить Александра Сергеевича, надел на себя маску миротворца, но не из тех, прибавляет Вигель, *кои сынами Божьими нарекутся:* диктовал он Дантесу приторные письма, еще более раздражавшие поэта, и вовсе не увещевал своего приемного сына прекратить неуместные, назойливые ухаживания за Натальей Николаевной; наконец, содействовал встречам соперников на вечерах и балах.

По мнению Льва Сергеевича, Геккерен-старший проявил малодушие тем, что после нанесенного ему поэтом оскорбления избрал Дантеса своей подставной пикой, заявляя, что сам не может драться в силу, дескать, своего общественного положения; в доказательство же бессердечности лукавого дипломата дядя Лев привел моей матери следующее, слышанное им на Кавказе, обстоятельство, достоверность которого требует, однако, подтверждения: будто бы Геккерен-старший, в день злополучного поединка – 27-го января 1837 года – поехал к Комендантской даче в наемной карете, а не в своей, опасаясь быть узнанным

публикой. Затем, приказав кучеру остановиться не на особенно далеком расстоянии от места поединка, выслал якобы на рекогносцировку своего камердинера, и, получив донесение последнего о страшном результате, отослал экипаж с этим лицом для одного из раненых соперников; сам же будто бы нанял проезжавшего извозчика, на котором и ускакал путями окольными, не желая подвергаться и тут любопытным взглядам.

«Не так поступил бы любящий отец – родной ли, мнимый ли, все равно, – говорила мне покойная вдова друга поэта, Евгения Абрамовича Баратынского, Анастасия Львовна, слышавшая тоже этот рассказ от других. – Гораздо было бы проще, – сказала она, – явиться самому на место, разнять соперников, или же, несмотря ни на лета, ни на дипломатический пост, стать самому под пушкинскую пулю, в качестве лица, главным образом, оскорбленного Александром Сергеевичем, чем ожидать хладнокровно известий от какого-то лакея, да обратиться потом в бегство на первом встречном ваньке…»

Такова характеристика Геккерена-старшего, обрисованная Львом Пушкиным, Вигелем и другими. Моя же мать, Ольга Сергеевна, приписывая первенствующую роль в адской интриге не Геккерену-старшему, а иным подлым деятелям, считала неизвинительными оскорбления, нанесенные дипломату ее братом. Впрочем, Геккерен-старший в глазах Ольги Сергеевны был человеком, для которого собственное «я» стояло на первом плане, следовательно, эгоистом, руководившимся единственно инстинктом самосохранения в самом обширном смысле слова.

Отрицательные свойства этой загадочной личности приняли к сведению пораженные кончиной Пушкина студенты Петербургского университета, Педагогического института, Академии и прочая молодежь, порешив разгромить квартиру Геккерена-старшего, что, однако, было предупреждено принятыми Бенкендорфом полицейскими мерами. Тем не менее оставаться голландскому дипломату в России было уже неловко: он выехал вскоре после события.

В Вене его приняли сухо, а наш посол Медем не поехал на званый обед к Меттерниху, узнав, что Геккерен будет в числе приглашенных.

Чем занимался Геккерен впоследствии – неизвестно. По словам моей матери и князя П. А. Вяземского, он, закончив дипломатическую карьеру, скитался по белому свету без постоянного пристанища.

Перехожу к Геккерену-младшему, иначе Георгу Дантесу, но так же, как и об его приемном отце, не высказываю о нем субъективного заключения, а руководствуюсь имеющимися в

моем распоряжении данными от лиц мне близких.

В конце первого отдела моей *Семейной хроники,* напечатанной в 1888 году на столбцах «Исторического Вестника» и вышедшей в 1890 г. в Москве отдельной книгой, под заглавием «Воспоминания об А. С. Пушкине», я отчасти коснулся взгляда на Дантеса-Геккерена моей покойной матери. Ныне привожу слова Ольги Сергеевны, насколько помню:

«Двадцатитрехлетний Дантес, – говорила мне она, – держать с которым поединок почти сорокалетнему отцу семейства было не стать, принадлежал к самонадеянным фатам, голова которых повинуется языку, а не наоборот. Вообразив, что никакое женское сердце против батарей его очаровательных глаз устоять не может, умом же он звезды с неба (не) хватает, он хвалился, особенно перед женщинами, что ему, подобно гоголевскому герою «Мертвых душ», довелось многое претерпеть за правду, как приверженцу французского короля Карла X, и, подобно пожилой кокетке, лез вон из кожи вербовать себе поклонниц – красивых, дурных, глупых, умных – все равно: удовлетворение чувству самообожания служило модному кавалергардскому поручику главной житейской целью. Будучи праздным с утра до вечера, бесясь, так сказать, с жиру, Дантес поступал во всем очертя голову, никогда ничего не взвешивая. Намерения разбить семейный очаг Александра Сергеевича он не имел. Правда, был далеко не равнодушен к моей невестке, но при всей своей умственной немощи не мог не видеть, что она, считая его лишь забавным собеседником да ловким танцором, не променяет на него мужа и детей, а потому и его ухаживания ограничивались хотя подчас и неуместной, но бесцельной болтовней».

Таков взгляд моей матери, сестры поэта. Привожу и противоположный взгляд младшего его брата.

По убеждению Льва Сергеевича Пушкина, модный кавалергард-щеголь действовал по отношению к Пушкину далеко не безвинно: следуя тактике, преподаваемой ему Геккереном-старшим, Дантес, хотя и не был причастен к литературе подметных писем, адресованных на имя моего дяди, но своим фатовством и систематическою назойливостью сам вызвал эту литературу; в силу же мальчишеского ухарства, самонадеянный франт, возмечтав покорить сердце супруги поэта, порешил афоризмом: чем больше препятствий, тем славнее победа.

Раздражая Пушкина плоскими остротами, возмутительным laisser aller[46] и зная веселый характер Натальи Николаевны, Геккерен-младший – он же Дантес, – воспользовавшись этим характером, надел на себя шутовскую личину не без злостного-де намерения. О ходе же своих бесед он-де докладывал своему

батюшке, похваляясь, в то же время, перед врагами Пушкина, что и было этим господам на руку, в особенности тем, которых Александр Сергеевич задевал в последнее время едкими эпиграммами.

Наконец, мой дядя Лев Сергеевич рассказал моей матери, что нахальство Дантеса достигло апогея, когда, оставаясь однажды случайно с Натальей Николаевной наедине в чужом доме, не помню у кого, вынул из кармана незаряженный пистолет, и приставил его себе ко лбу с восклицанием: «Размозжу себе голову, если сделаете меня несчастным».

Тут моя тетка с испугу закричала. Явилась хозяйка с посторонними гостями, а Дантес, оповестив компанию, что хотел прелестную жену поэта попугать, стал дурачиться, забавляя публику грациозной мимикой, так что и Наталья Николаевна, оправясь от страха, не могла не расхохотаться.

«Дантесу, – говорил Лев Сергеевич, – глубокое чувство не было доступно; иначе он бы не подал пищи клеветам против той, которой пленился. Поступая как бездушный фат, Дантес точно так же эгоистически пролил и бесценную кровь великого человека: опасаясь на поединке за свое существование, он выстрелил первым, вопреки общеизвестному правилу, первым стреляет не вызывающий, а вызванный; в данном же случае вызван был не Дантес, а Пушкин, по получении Геккереном-старшим письма Александра. Стало быть, Дантес не дорожил ни добрым именем предмета своей бестолковой страсти, ни чужим спокойствием, ни спокойствием своей супруги Екатерины Николаевны, с которой повенчался за три недели до поединка. При чувстве самообожания, у Дантеса блистало отсутствием чувство самоуважения, которым и следовало ему руководствоваться в решительные минуты…»

III

Характеристика Натальи Николаевны Пушкиной. – Высокая ее нравственность. – Нелепые клеветы и опровержения их

Коснусь чистого, нравственного облика покойной моей тетки – жены поэта, Натальи Николаевны Пушкиной.

Ухаживаниям Дантеса она не придавала никакого значения. Эти ухаживания были даже предметом веселого разговора между нею и моей матерью, когда Ольга Сергеевна гостила у своего брата летом 1836 года, после кончины их матери, Надежды Осиповны Пушкиной. Нимало не подозревая о серьезном обороте

дела, моя мать пишет своему отцу, Сергею Львовичу, от 6-го декабря того же года из Варшавы[47], по поводу слухов о женитьбе Дантеса на Екатерине Николаевне Гончаровой, между прочим, следующее:

«Страсть Дантеса к Nathalie, впрочем, как нельзя более платоническая и не приносящая вреда кому бы ни было, ни для кого не была тайной, что я знала хорошо, когда была в Петербурге, и часто на этот счет подтрунивала над нею». Наталья же Николаевна, говорившая Ольге Сергеевне, что Дантес забавными выходками и мертвого рассмешит, а слушать его очень весело, отнеслась шутя и к словам Пушкина, не постигая их зловещего тона, когда он ей сказал, задолго еще до получения анонимных писем: «Смотри, женка, Дантес за тобой ухаживает: вызову на дуэль, а тогда кого пожалеешь?» – «А того, кто будет убит», – отвечала Наталья Николаевна, вовсе не допуская и мысли о случившемся впоследствии. Между тем, недоброжелательницы жены поэта поставили ей в укор и этот шуточный ответ, обвиняя ее в легкомыслии и полном равнодушии к мужу.

Разговоров о его трагической смерти она избегала, но с переселением в Петербург моей матери делилась с нею горькими воспоминаниями. На одной из таких бесед – лет с лишком двадцать спустя по смерти дяди – я присутствовал и записал в мой дневник следующие слова вдовы поэта (бывшей тогда во втором замужестве за генерал-адъютантом Петром Петровичем Ланским):

«Заверяю тебя, Ольга, в присутствии Леона (тут тетка указала на меня) священным моим словом, что я не погрешила и мысленно против Пушкина (тетка всегда называла моего дядю по фамилии, даже и в разговорах с ним), а укоряю себя лишь в недальновидности: по неопытности я не подозревала ничего серьезного, а потому и не предупредила козней его врагов. Но в остальном чем провинилась? Моей привлекательной наружностью? Да не я же себе ее сотворила. Любезным обращением? Да этому виноват мой общительный характер. Остроумием в обществе? Но если острила, то вовсе не с целью обижать кого бы ни было. Наконец, – сказать смешно – неужели моим умением играть в шахматы, за которое получала комплименты мужчин? Да скучно ведь играть в шахматы самой с собою. Но, – может быть, грешу, – никогда не прощу злодеев, которые свели моего Пушкина в могилу, для чего и бесславили меня. Скорбь же моя о Пушкине умаляется при сознании, что я чиста перед ним. Пусть праздные языки толкуют обо мне что угодно. Сами себя марают, а не того, кого чернят».

Моя покойная мать никогда не сомневалась в равнодушии

своей невестки к Дантесу, и однажды заметила мне:

«Есть красавицы, не всегда располагающие в свою пользу; но у тех, внешняя оболочка которых привлекает всякого с первого на них взгляда, непременно прекрасная душа. Такова наружность Наташи; взглянув на нее, каждый скажет: «честная, добродушная натура!»

«Довольно иметь нам твердое, задушевное убеждение – заявляет князь П. А. Вяземский в письме к А. Я. Булгакову, – что жена Пушкина непорочна, и что муж ее жил и скончался с этим убеждением; любовь и ласковость к ней не изменялись в нем ни на минуту».

Но увы!

Клеветы на мою покойную тетку пустили такие корни, что и теперь мне зачастую задают неуместные вопросы, вроде следующих: Вы племянник родной Пушкина, потому все должны знать: правда ли, что жена была ему неверна? При этом господа любопытные приводят то один, то другой нелепый анекдот.

Упомяну, между прочим, о следующих, приводивших меня в негодование, и спешу их опровергнуть:

Будто бы Наталья Николаевна, встретив через несколько лет по кончине мужа какого-то господина, уезжавшего в Париж, отнеслась к нему: «Поклонитесь от меня Дантесу и скажите ему, что я храню о нем очень хорошее воспоминание».

На поверку, моя тетка по смерти мужа до самой своей кончины – осенью 1863 года – ни при ком и никому, за исключением моей матери, даже и у себя не произносила фамилии Дантеса, а я в течение гораздо более десятка лет виделся с Натальей Николаевной довольно часто.

Пущена была в ход и возмутительная молва, будто бы Наталья Николаевна науськивала дядю вызвать Дантеса на поединок в том расчете, что последний, убив первого, обвенчается с нею и с нею же убежит за границу.

Об этой нелепости мой отец, в письме к своей матери от 5-го июля 1837 года из Варшавы, сообщает следующее:

«Насилу мне удалось убедить этих болтунов-простофилей, что Дантес был уже повенчан со свояченицей Пушкина; стало быть, вдове поэта было невозможно после его смерти выйти замуж за Дантеса».

Уверяли также, будто бы Александр Сергеевич в припадке ревности избил Дантеса палкой до такой степени, что соперник долго не был в состоянии держать дуэль, на которую и вызвал моего дядю именно вследствие таковой палочной расправы.

Но известно, что не физическое насилие над Дантесом, а письмо Пушкина голландскому дипломату повлекло за собою

поединок.

Наконец, обвинители Натальи Николаевны огласили, будто бы Пушкин отвечал ей однажды на ее вопрос: о чем задумался поэт – следующим четверостишием:

> Увы! для твоего поэта
> Настал великий пост;
> Люблю тебя, моя комета,
> Но не люблю твой длинный хвост!

Четверостишие это, приписываемое моему дяде, составлено совершенно другим лицом, адресовано им к другой даме, на что могу представить и доказательство, буде понадобится.

Но мало того: очернить доброе имя вдовы поэта ухитрились и за границей, куда отчалили из России некоторые недоброжелатели супругов Пушкиных: эти личности завербовали и в чужих краях людей легковерных среди литераторов, которые, интересуясь кончиной поэта, внимали вздорным россказням да переделывали их на свой лад, дойдя до геркулесовых столпов чепухи. Так, в 1876 году в Милане некий Пьетро Косса разрешился от бремени четырехактной драмой в стихах (этот курьез был у меня под рукою), под заглавием «Puskin»! Свою фантазию он напечатал и едва ли не поставил на сцену.

В последнем акте этой сверхъестественной белиберды, завершаемой кончиной моего дяди, после дуэли на шпагах (sic!) со счастливым соперником князем Инзевым (il principe Inzef), окружают Пушкина его жена (Natalia Dangerof?!), секундант поэта барон Дельвиг (вероятно, заблагорассудивший воскреснуть через шесть лет после своей смерти) и некая юная цыганка Мария (Maria giovinetta Zingara), привезенная якобы Пушкиным из Бессарабии. Умирая на сцене, Пушкин завещает-де цыганочке добрую о себе память и поцелуй (A te fanciulla la mia memoria e un baccio), а кающуюся жену угощает фразой: «Вам же мои богатства» (A voi le mie richezze). В той же драме отведена роль и скончавшейся еще в 1828 году (в доме моих родителей, Павлищевых) няне поэта, Арине Родионовне (Irene Radionovna, vecchia nutrice di Puskin), да вовсе не существовавшему на шаре земном русскому публицисту Милоски (Miloski, direttore d'un giornale litterario[48]. Вся эта ахинея заканчивается патетическим укором Дельвига Наталье Николаевне: «Ваше женское тщеславие стоит России величайшего ее поэта!!» (La vostra vanita di donna costa alia Russia il suo piu gran poeta!!).

По словам Ольги Сергеевны, хотя ревность и была одним из прирожденных свойств ее брата, подобно другому его чувству –

безотчетной симпатии с первого взгляда на какую-либо незнакомую личность, что французы называют engouement, но Пушкин отнюдь не допускал сомнения в благочестии своей жены, а только опасался, чтобы она, болтая простодушно в салонах и давая волю смеху, не подвергалась пересудам. Такую боязнь он ей неоднократно высказывал в письмах, из числа которых выбираю следующую выдержку:

«…Кокетство не в моде и считается признаком дурного тона… Требую от тебя холодности, благопристойности, важности… Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкие не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышней, все, что не comme il faut, все, что vulgar…»

Привожу слова моей матери, мне ею продиктованные: «Недоброжелатели жены брата ставили ей в укор танцы, наряды, светскую болтовню. Конечно, она часто доставляла себе удовольствие потанцевать, наряжаться, да смеяться в обществе с тем, кто, подобно Дантесу, был мастер смешить. Но не надо забывать, что она вышла замуж 19 лет; когда умер брат, ей 25 не было, так как родилась 26 августа 1812 т. – в самый день Бородинского сражения; а в 25 лет извинительны танцы, изящный костюм, веселая болтовня. К тому же моя невестка все это делала с ведома мужа, которому пересказывала все, что с ней случалось». Заканчиваю характеристику покойной моей тетки следующим: Набожная Наталья Николаевна была примерной супругой и матерью, поставив себе целью счастье детей. Всегда и везде находила она приветливое слово для всех и каждого, а ее ровный, счастливый характер вызывал к ней общее сочувствие, чему я очевидный свидетель. Ценимая всяким, кто знал ее, она оставила о себе самую светлую память.

IV

Отношения А. С. Пушкина к обоим Геккеренам

Пушкин почувствовал к старшему Геккерену антипатию с первой встречи, и выразился о нем Филиппу Филипповичу Вигелю – как этот последний пересказал при мне моей матери – таким образом: «Mon cher, cet homme-la me fait 1'efet d'un Janus a double face»[49].

Вскоре по заключении знакомства – продолжал Вигель – Пушкин, встретив Геккерена у графини Фикельмон, услышал фразу этого господина хозяйке: «Voila votre fameux poete qui arrive» (Вот идет ваш знаменитый поэт), причем стоявший возле

Геккерена Дантес якобы иронически усмехнулся. Пушкин принял-де эту фразу в дурную сторону, не взял протянутой ему Геккереном руки и отвечал: «Je vous en felicite, monsieur l'ambassadeur» (С чем вас и поздравляю, г-н посланник), а затем, отозвав в сторону Вигеля, заявил ему, Филиппу Филипповичу: «Savez vous, mon cher, que je ne puis supporter ce petit ton goguenard de Haeckeren en presence de son benet de fls, et surtout en presence de ma femme; mais je le chatirai d'importance en temps et lieu» (Знаете, мой милый, я не могу выносить насмешливого тона Геккерена в присутствии его болвана сына и в особенности в присутствии моей жены; но накажу его больно в свое время и в своем месте).

Впоследствии Пушкин принял еще более к сердцу переданные ему Натальей Николаевной слова Геккерена-старшего, хотя и высказанные в виде шутки, что ей-де следует разойтись с мужем да заменить его лицом более к ней подходящим, о чем упомянуто мною выше.

Услышав об этой выходке Геккерена от самой Натальи Николаевны, Александр Сергеевич (как она сообщала моей матери) заметил: «Все, что знаю, Геккерен вместо того, чтобы заботиться о делах своих Нидерландов, сует свой нос в другие места, праздный человек!» (Tout ce que je sais, Haeckeren, au lieu de vaquer aux afaires de ses Pays Bas, fourre son nez ailleurs, faineant qu'il est!).

Эта же именно выходка Геккерена-старшего и подкрепила возникшее у дяди Александра подозрение, что подметные письма – дело рук дипломата, стакнувшегося с врагами Пушкина.

«Сердце сердцу весть подает, – говорила моей матери Анастасия Львовна Баратынская. – Кто кого первый возненавидел – Геккерен ли твоего брата, или наоборот – не знаю. Скорее всего, взаимная антипатия проявилась одновременно. Геккерен старался вредить Пушкину везде, где только мог».

Касательно отношений Пушкина к Дантесу ограничиваюсь рассказом троюродного брата поэта и матери моей, барона Николая Романовича Бистрама[50]. Этот рассказ я сам от него слышал на излюбленном им немецком языке в 1864 году.

«Мой кузен Александр, – сказал мне Бистрам, – познакомясь с Дантесом у графини Бобринской за полтора года до дуэли[51], враждебно к нему не относился; но общего знаменателя между ними не было и быть не могло, ни по летам, ни по характеру. Александру этот фатишка не мог приходиться по вкусу (Alexander konnte nicht an diesen Geek Geschmak finden). Однако Пушкин, вращаясь в большом свете и имея слабость подражать во всем этому свету (da er die grosse Welt verkehrte, und die Schwache hatte

der grossen Welt in allem nachzuahmen), не мог запереть дверей модному французу так же, как и его, так сказать, отцу. Пушкин принял Дантеса вежливо, как человек, знакомый со светскими приличиями, и на первых порах обращался с ним ласково, улыбаясь подчас его забавным шуткам. Но когда шуточки стали выходить из границ приличия и появились на сцену постоянные котильоны и мазурки на балах с женой Александра, сопровождаемые плоскими анекдотами, то Пушкин дал почувствовать Дантесу, впрочем, совершенно деликатно, что такое поведение ему не совсем по нутру. Тем не менее, опять подчиняясь законам высшего общества, где над ревнивыми мужьями смеются, Пушкин не обнаруживал, будучи, однако, ревнивым как турок, своего болезненного, мучительного чувства и выжидал, пока до него не дошел слух, что Дантес начал хвастать (sich zu prahlen) перед многими, будто бы жена Пушкина, оценив его ум и красоту, едва ли в него не влюбилась, с чем не преминули его поздравить завистницы жены поэта – охотницы посудачить (willig zum klatschen). Тогда только мой кузен стал к Дантесу в неприязненные отношения, считая его способным на всякий неблаговидный поступок; Пушкин посмотрел на сватовство Дантеса, предложившего руку его свояченице, как на ловко придуманную увертку (eine listig bedachte Ausfucht) от предложенной уже Александром дуэли».

К этому рассказу Н.Р. присовокупил известный факт, как Пушкин, получив за обедом письмо Дантеса о его желании обвенчаться с Е. Н. Гончаровой, обратился к находившемуся у него знакомому – фамилии Бистрам не называл – со словами: «И отец, старый плут, и его мальчишка сын – яблоки от одного и того же дерева» (Und der Vater, der alte Schalk, und der Bengel, sein Sohn, sind Apfel von einem und demselben Baume).

«Наконец, – заключил рассказ Н. Р., – ненависть свою к Геккерену Александр изобразил как нельзя рельефнее секунданту врага, виконту д'Аршиаку, – утром в день дуэли, – сильной французской выходкой: «La premiere fois que je rencontrerai les Haeckeren, – pere ou fils – le diable n'a qu'a les emporter tous les deux – je leur cracherai à la figure, si la rencontre n'aura pas lieu aujourd'hui meme» (Первый раз, когда встречу Геккеренов, отца или сына, – черт побери их обоих, – я плюну им в лицо, если встреча не состоится сегодня же).

Поединок и состоялся в тот же день – в среду, 27 января 1837 года, – близ Комендантской дачи.

V

Помолвка Е. Н. Гончаровой. – Письмо Бенкендорфу. – Ходатайство графа Соллогуба. – Свадьба. – Поведение Дантеса

Обе свояченицы дяди Александра – Екатерина и Александра Николаевны Гончаровы – поселились в доме поэта вскоре после его свадьбы[52], над чем подтрунила моя мать в письме к нему из Варшавы в следующих строках: «У тебя, как вижу, не одна, а целых три жены»[53]. Весной же 1836 года она пишет моему отцу из Петербурга в Варшаву, между прочим, следующее:

«Александр был у меня сегодня с его прелестными тремя женами, чем я была очень обрадована. Вторая его жена – Коко (Екатерина) старше, и еще выше ростом первой; хотя и очень хороша собою, но ничто в сравнении с Наташей; зато так же добра, как и она, и вполне очаровательна. Она всегда сопровождает настоящую жену Александра в театр и на вечера, а третья жена – Азинька (Александра) – предпочитает сидеть дома и нянчиться с детьми брата»…

Летом 1836 года моя мать видела Дантеса у Пушкина на Каменноостровской даче и только один раз.

Что Дантес сделался идеалом Екатерины Николаевны Гончаровой, пленив ее с первой встречи, удивляться нечего: красивый, шикарный кавалергард кокетничать глазами да краснобайством был мастер, и свояченица поэта, обвороженная им, старалась как можно чаще встречаться с Дантесом сначала у зятя, а потом и на великосветских вечерах, куда выезжала с сестрою.

По мнению Льва Сергеевича Пушкина, Ф. Ф. Вигеля, П. А. Вяземского, В. А. Жуковского и Я. И. Сабурова, Дантес не оценил Екатерины Николаевны; в противном случае, женясь на ней, занялся бы поприлежнее если не счастьем, то спокойствием ее, которое ни в грош не ставил, огорчая жену бессмысленными, да и бесцельными ухаживаниями за новой свояченицей.

Нежным чувствам Дантеса к Екатерине Николаевне дядя Александр, само собой разумеется, тоже не верил, и говорил, что Геккерен-старший бессовестно лгал, утверждая, что, якобы, его приемный сын посещал Пушкиных единственно Екатерины Николаевны ради, но долгое время скрывал-де от него, Геккерена-старшего, пламенную к ней страсть, опасаясь отказа в родительском благословении нидерландского дипломата; ядовитая же насмешка Александра Сергеевича над притворным чувством Геккерена-младшего выразилась в письме к графу Бенкендорфу – 21 ноября 1836 года[54].

Извещая в этом письме Бенкендорфа о просьбе Геккерена-старшего отсрочить на две недели предложенный Дантесу

поединок, мой дядя выразился так:

«II se trouve, que dans l'intervalle accorde, Monsieur d'Antes devint amoureux de ma belle soeur, Mademoiselle Gontcharof, et qu'il Га demanda en mariage. Le bruit public, m'en ayant instruit, je fis demander a Monsieur d'Archiac (second de Monsieur d'Antes) que ma provocation fut regardee comme non avenue» (Случилось, что в промежуток предоставленной отсрочки господин Дантес влюбился в мою свояченицу, девицу Гончарову, и сделал ей предложение. Общий слух об этом до меня дошел, почему я и дал знать г. д'Аршиаку (секунданту г. Дантеса), чтобы мой вызов (на поединок) был сочтен не состоявшимся).

В этих строках сквозит, по замечанию, сообщенному мне другом дяди, покойным Алексеем Николаевичем Вульфом, – язвительный вопрос, каким образом Дантес мог влюбиться до такой степени в течение двух недель, после которых предполагался отсроченный обмен пуль? «В тех же строках кроется, – сказал мне Вульф, – и заключение твоего дяди, что не любовь, а трусость Дантеса подтолкнула «его услышать» в чуждой ему православной церкви и на свой счет Исайя ликуй, так как поединок с Пушкиным предстоял не шуточный: стреляться в 15 шагах, а в случае промаха продолжать бой до тех пор, пока один из соперников не изменит вертикальному положению в пользу горизонтального.

Струсил один из самых искусных стрелков Кавалергардского полка, – закончил Вульф, – а трусость разрешилась от бремени (la poltronnerie a accouche) и другим пошлым поступком: заслониться от дуэли добрейшей Е. Н. Гончаровой, поставив ее счастье на карту».

Не выводя о поведении Дантеса собственного заключения, и передавая сказанное мне А. Н. Вульфом, изложу и мнение моей матери – сестры мученика-поэта, – не усмотревшей в сватовстве Дантеса к Е. Н. Гончаровой избранного им якоря спасения от угрожавшего ему поединка:

«Дантес, – говорила она мне, – затеял женитьбу с бухты-барахты, уверив сам себя, что сватается по непобедимому чувству, о котором этот 23-летний ветрогон и понятия не имел. Это высказал ему и старый Геккерен, давая разрешение на брак после долгих колебаний, но затем сам пожелавший устроить поскорее не нравившуюся ему сначала свадьбу питомца.

Любовь Георга Дантеса была, таким образом, одной лишь вспышкой не отдавшего себе отчета ни в чем юного француза, – вспышкой паркетного рыцаря: все ему по-русски «трын-трава», а по-французски, «je ne m'en moque pas mal[55]».

Как бы ни было, желание Дантеса, разделяемое стариком

Геккереном – уклониться от поединка – на этот раз осуществилось. Ольга Сергеевна мне рассказывала, что Дантес изъявил о намерении жениться сначала ее брату-поэту (при ответе на вопрос последнего, почему он, Дантес, к нему пришел, когда Пушкин отказал Дантесу от дома), а на другой день сделал и письменное предложение.

Слухом о сватовстве воспользовались и друзья, и недруги моего дяди; и те и другие стали ему доказывать, что свадьба его свояченицы уничтожает вызов на поединок, а граф Соллогуб, сам предложивший сперва Пушкину служить ему секундантом[56], попросил его письмом 21 ноября 1836 г. взять вызов назад. Тогда дуэль предполагалась на Парголовской дороге, в десяти шагах (а не в пятнадцати, как говорил мне А. Н. Вульф).

Письмо Пушкину Соллогуб заканчивает так:

«Из разговоров я узнал, что Дантес женится на вашей свояченице; если вы только признаете, что он вел себя в настоящем деле как честный человек, г-н д'Аршиак и я служим вам порукою, что свадьба состоится. Именем вашего семейства умоляю вас согласиться».

Пушкин, не придававший значения ни уверениям Дантеса, ни стоустой молве, отвечал:

«Прошу гг. секундантов считать мой вызов недействительным, так как, по городским слухам, г. Дантес женится на моей свояченице; впрочем, я готов признать, что в настоящем случае он вел себя честным человеком».

Таким образом, Александр Сергеевич уступил увещаниям графа Соллогуба и в особенности собрата по музе В. А. Жуковского, который еще прежде хлопотал, по ходатайству Геккерена-старшего, об отсрочке поединка под предлогом устройства Дантесом домашних дел.

Все это дошло через графа Бенкендорфа до Высочайшего сведения, и Государь Император Николай Павлович выразил Пушкину свое удовольствие о мирном исходе дела, причем сказал ему: «Беру с тебя слово, что если будешь находиться в таком же положении, то все скажешь мне, прежде чем на что-нибудь решиться».

Помолвке Дантеса обрадовались, кроме самой Екатерины Николаевны, обе ее сестры, не считая друзей поэта, бывших уверенными, что со свадьбой погаснет и вражда. Но мой дядя не хотел слышать о мировой, ограничась уничтожением своего вызова на поединок и рассылкой пригласительных билетов на свадьбу.

Бракосочетание состоялось, как я сказал выше, 7 января 1837 года[57], ровно за 20 дней до поединка, – в церкви, наполненной

кавалергардами, сослуживцами жениха, конногвардейцами, представителями дипломатического корпуса и лицами высшего круга обоего пола.

По словам Ольги Сергеевны, не бывшей, впрочем, тогда в Петербурге, ее брат тоже присутствовал на свадьбе – иначе поступить не мог, – но в дом новобрачных после венчанья не поехал, объявив своим друзьям, что ни в каком случае не намерен сближаться с Дантесом. «Упорство Пушкина отравляет мне радостный день», – заявила новобрачная Наталье Николаевне и еще более опечалилась, когда Александр Сергеевич, не изменяя, однако, дружескому к ней расположению, не отдал молодым свадебного визита.

«Брат мой, – говорила мне мать, – подал этим надежду своим врагам, опасавшимся сначала, что женитьба Дантеса помешает достижению их преступных целей. Впрочем, он слишком был вооружен против обоих Геккеренов, приписывая анонимные пасквили этим двум лицам, а не настоящим авторам – иезуиту Гагарину и кривоногому (le bancal) Долгорукову, ненавидевшим Россию[58].

VI

Отношения Пушкина к Дантесу в последнее время. – Высшее общество. – Ссора с Геккереном-старшим и роковые ее последствия

«Враги моего брата, – продолжала сестра поэта, – ободрились: они устраивали ему встречи с обоими Геккеренами, и в особенности в доме Карамзиных, где мой брат и Дантес грызлись между собой как собаки (буквальные слова моей матери), а когда Александр появлялся в салонах, тогда поклонницы новобрачного перешептывались да ехидно улыбались. На стороне Дантеса очутились и товарищи его кавалергарды, и так называемая золотая петербургская молодежь, наконец, некоторые личности обоего пола, выговаривавшие брату, но отнюдь не из участия к нему, неуместную ревность Отелло к новоиспеченному свояку.

Карамзины благоволили к брату, но ничего не могли поделать. Княгиня же Вяземская распорядилась не принимать Дантеса, когда у подъезда будет стоять известная швейцару дома Пушкинская карета.

Брата отстаивала и Е. М. Хитрово[59], а граф Строганов свел его с Дантесом как бы невзначай, с целью их примирить у себя на обеде, во время которого Дантес еще более раздразнил Александра: сидя против Натальи Николаевны, он чокнулся с нею

бокалом через стол, а затем, по своему дурацкому обыкновению, стал упражняться в плоских каламбурах».

По мнению моего дяди Льва Сергеевича Пушкина, оправдание Дантеса тем, что он якобы искренне желал мира, – построено на песке: занимался-де он строченьем примирительных писем к Пушкину по науськиваньям врагов поэта, которые именно били на противоположный их эффект.

«Дантес, – говорил Лев Пушкин, – не был до такой степени прост, чтобы не сообразить, кто его советчики, а его миролюбивые заверения расходятся с делом; сегодня строчит записку, а завтра, к вящему ликованию подстрекательниц и подстрекателей, набивается на встречи с Натальей Николаевной и, танцуя преимущественно с нею, расточает ей банальности: ясно после этого, что мой брат считал подобную тактику фиглярством, вследствие которого и появились опять подметные письма».

Сообщая такое мнение дяди Льва, прибавлю от себя: казалось, сам неумолимый рок преследовал Пушкина: его желание выбраться еще осенью 1836 года из Петербурга не состоялось; письмо его к его другу – крестному отцу старшего сына поэта – Павлу Войновичу Нащокину о высылке денег на поездку в деревню не застало последнего в Москве, а Сергей Александрович Соболевский, говоря мне об этом обстоятельстве – насколько помню, двадцать лет спустя после кончины дяди – выразился так:

«Видно, судьба распорядилась, что твой дядя не догадался обратиться заблаговременно ко мне. Знал же он мой заграничный адрес, знал и то, что я был при деньгах. Выслал бы я ему из Вены кредитив на имя любого петербургского банкира, и дело с концом».

Происки врагов явных и тайных окончательно взорвали Пушкина. Считая главным коноводом Геккерена-старшего, Александр Сергеевич наносит ему сначала тяжкое оскорбление в гостиной тетки Натальи Николаевны, фрейлины Загряжской и в ее присутствии[60], а затем, видя немедленную необходимость развязать историю оружием, посылает старику Геккерену отчаянное письмо, последствием которого и был смертоносный поединок.

Прижатый к стене этим письмом, нидерландский дипломат командирует к Пушкину виконта д'Аршиака с ответом, скрепленным и Георгом Дантесом-Геккереном, заявляя, что уполномочивает виконта условиться о поединке между Пушкиным и Дантесом. Свой ответ на письмо Александра Сергеевича Геккерен-старший оканчивает в записке,

доставленной поэту д'Аршиаком, следующим образом:

«Je saurai plus tard, Monsieur, Vous faire apprecier le respect, df au caractere dont je suis revetu, et qu'aucune demarche de Votre part ne saurait atteindre» (Впоследствии, милостивый государь, сумею заставить вас уважать звание, в которое я облечен, и которое никакая попытка с вашей стороны затронуть не может).

Об этих выражениях мой отец, зять поэта, изложил мне следующую мысль:

«Придавая фразе Геккерена буквальный смысл, можно бы, по-видимому, вывести, что Геккерен был убежден или в том, что дуэль не состоится, или же в том, что она кончится не в пользу Дантеса, или же, наконец, в том, что она для обоих противников окончится благополучно; а потому естественнее всего, что дипломат написал эти слова с целью лишь ослабить хотя чем-нибудь нанесенный ему Пушкиным удар».

Многие из посещавших Ольгу Сергеевну современников и современниц ее брата-поэта рассказывали ей, что и тут Геккерен-старший разыграл комедию: требуя от Пушкина серьезного поединка с Дантесом, он в то же время рассчитывал на распоряжение графа Бенкендорфа накрыть соперников на месте; тогда-де Дантес не прольет ни капли крови, а честь обоих Геккеренов будет удовлетворена.

С этой-то целью Геккерен-старший, как рассказывали, получив от д'Аршиака сведение о часе и месте дуэли, скачет к Бенкендорфу, но натыкается на такого же врага Пушкина, как и сам; Бенкендорф, будто бы обрадовавшись предстоявшей поэту опасности и нимало не интересуясь земным существованием Дантеса, выслушивает Геккерена с притворным участием, обещает ему предупредить дуэль арестом враждующих, и действительно: посылает на другой день с жандармами кого следует, но… не к месту встречи, а в противоположную сторону, едва ли не в Екатерингоф.

VII

Нравственное состояние Пушкина перед поединком. – Рассказ его вдовы о дуэли. – Мнение Арендта и других. – Дальнейшая судьба Дантеса. – Заключение

Сообщаю свидетельство моей покойной матери о душевном состоянии ее брата в предсмертную его эпоху.

При последнем свидании с ним, в 1836 году, Ольга Сергеевна была поражена его худобой, желтизной лица и расстройством его

нервов. Александр Сергеевич с трудом уже выносил последовательную беседу, не мог сидеть долго на одном месте, вздрагивал от громких звонков, падения предметов на пол; письма же распечатывал с волнением; не выносил ни крика детей, ни музыки.

Заявляю, кстати, что в одной из моих заметок, появившихся в 1872 году в «Русской старине», я привел высказанные моей матери слова ее брата при последней разлуке: «L'existence m'est a charge, et espere qu'elle ne durera pas longtemps! je vous dirai mieux: je le sens!» (Жизнь мне в тягость, и надеюсь, не долго продолжится. Лучше скажу: чувствую это!).

Пополняю это следующим сообщением Ольги Сергеевны, занесенным в частный мой дневник.

«Смутное ожидание братом ужасного чего-то, – говорила мне она, – выразилось и в его стихах на последнем лицейском обеде, которые он не мог прочесть, подавляя рыдания, и в элегии: «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит», когда, удрученный мрачными мыслями, мой несчастный брат жаждал покоя вдали от неприязненной ему сферы».

Говоря о нравственном состоянии Пушкина, отмечу следующий отрывок письма моей матери к отцу их, Сергею Львовичу Пушкину, из Варшавы от 27-го февраля 1837 года, ровно через месяц после поединка:

«…Вчера я получила известие от Евпраксии Вревской. Вспоминая об Александре, она пишет, что мой брат за три дня до дуэли был особенно грустен: со слезами вспоминал о вас, обо мне, о брате Леоне, жалел, что никого из нас нет в Петербурге; обо мне же говорил с большою нежностью, очень беспокоился о моей вторичной беременности и несколько раз повторял: «Жаль, очень жаль, что ничего не знал об этом в августе».

Описывать поединок дяди не стану: рассказан подробно другими.

Наталья Николаевна не знала ни о письме своего мужа к Геккерену-старшему, ни об ответе этой личности, а Пушкин, считая малодушием проговариваться жене, избегал в последние три дня оставаться дома, опасаясь, чтобы она не догадывалась о чем-то неладном. Привожу следующий рассказ вдовы поэта, сообщенный ею Ольге Сергеевне, записанный мною еще в 1853 году:

«В день поединка – это было в среду – Пушкин[61] вышел из дома спозаранку, не простясь со мною. Ни я, ни Азинька[62] еще не вставали; я не удивилась, потому что Пушкин говорил мне накануне, что чем свет уедет по делам.

Прождав его до часу, я позавтракала без него, велела

заложить коляску, выехала за покупками, сделала потом несколько визитов, а возвращаясь домой, и не подозревала, что мне попались навстречу в санях Пушкин с Данзасом – его секундантом. Ехали на дуэль.

Дома я узнала, что Пушкин заходил к себе и что скоро после него пришел к нему Данзас. Заперлись в кабинете. Данзас пробыл недолго, а Пушкин минут через десять после его ухода прошел со шляпой в руках и медвежьей шубе в детскую; поцеловав Машу, Сашу, Гришу, благословил лежавшую в кроватке Ташу, и сказал няньке: «Не буди Ташу, а барыня пусть дожидается меня к обеду».

Обедали мы всегда между пятью и шестью часами. В пять часов я велела накрывать, и отказала посторонним, потому что очень утомилась.

Проходит пять часов, проходит и половина шестого. Пушкина нет.

…Стала с сестрой беспокоиться; затем…»

…Тут следует дальнейший рассказ моей тетки, как появился в столовую Данзас и как принесли раненого поэта.

«Константин Данзас, – продолжала моя тетка, – показал себя истинным другом Пушкина, да иначе и быть не могло. Сейчас же поехал за докторами. Явились Задлер, Шольц, Арендт; приехали Соломон и Даль. Все они подали мне сначала, разумеется, опасаясь еще больше меня напугать, такую надежду, что я возблагодарила Матерь Божию за спасение жизни Пушкина. И сам Пушкин меня успокаивал, когда я прошла в его кабинет: «Вот увидишь, выздоровлю, все пройдет, пустяки». Но на другой день, в четверг, окруженный друзьями, сказал мне: «Знаю, что ты ни в чем не виновата, ни в чем! Все так же люблю тебя, и буду любить там, а ты живи для счастья детей…»

Мучения Натальи Николаевны, о которых она избегала говорить, были ужасны: «На ее конвульсии, – говорила Евпраксия Николаевна Вревская[63], – нельзя было смотреть слабонервным». При таком положении вдова поэта не могла присутствовать на печальных обрядах, а тем более сопровождать тело из Петербурга в Святогорскую обитель.

«Убеждение Александра в непорочности жены, – говорила Ольга Сергеевна, – умеряло его предсмертные страдания; это убеждение он засвидетельствовал не только на смертном одре, но и в самый разгар ужасной драмы, главным образом перед врагами. Относя виконта д'Аршиака к их числу, по своему излюбленному афоризму: *„кто не за нас, тот против нас»,* мой покойный брат сказал виконту: „II y a deux especes de maris trompes; ceux, qui le sont de fait, savent a quoi s'en tenir; mais le cas de ceux, qui le sont par la grace du public, est plus embarassant, et…

c’est le mien» (Есть два рода обманутых мужей; обманутые на деле знают чего держаться; но положение мужей, обманутых лишь милостью публики, затруднительнее; и это положение – мое)».

Одна из знакомых дяди сказала: «Не так отнесся бы Пушкин к жене, если бы считал ее виновной, а порешил бы с нею, как Отелло с Дездемоной».

Лейб-медик Арендт заявил: «Для Пушкина жаль, что он не был убит на месте, потому что его мучения были невыразимы, но для чести жены его счастье, что он остался жив; никому из нас, видя его, нельзя сомневаться в ее невинности и в любви, которую к ней Пушкин сохранил».

Отец мой, Н. И. Павлищев, в письме к своей матери от 15 февраля того же 1837 года, между прочим, сообщает:

«Враги моего шурина, обрадованные его кончиной, укоряли его в безумной ревности, злости, кричали, что смерть ему, как человеку беспокойному, поделом; словом, эти презренные люди справили Пушкину своего рода „danse macabre» (пляску смерти), а легкомысленному Дантесу le beau monde (большой свет), а главное, великосветские бездушные барыни воспели панегирики: Дантес, дескать, настоящим героем себя показал. Вследствие таких-то отзывов Дантес и на суде повел себя нахально».

По смерти Пушкина лейб-медик Арендт посещал ежедневно вдову поэта, строго наблюдая, чтобы ее никто не тревожил неуместными посещениями, причитываниями да праздными расспросами; благодаря его врачебному искусству, Наталья Николаевна была вскоре поставлена в возможность посещать церковь, где и приобщиться Святых Тайн, а с началом теплого времени уехала с детьми к своему брату, Д. Н. Гончарову, в Калужское поместье (Полотняные Заводы).

Горько ей было расставанье с Екатериной Николаевной, последовавшей за своим мужем, Дантесом-Геккереном, в чужие края. Сестры разлучились навсегда.

Изгнанный из пределов России, Дантес-Геккерен выехал во Францию, где при короле Людовике-Филиппе на него косились, как на бывшего приверженца Карла X, а соотечественники его жены не пускали убийцу Пушкина к себе на порог.

Не могу не привести при этом слышанный мною от Ольги Сергеевны рассказ, что года через два после дуэли с Пушкиным Дантесу прострелили на охоте нечаянно правую руку – как бы в возмездие, ниспосланное свыше – за убийство поэта – в ту минуту, когда он указывал ею на что-то своему спутнику. На охоте же убит в 1851 году нечаянно выстрелом и бывший его секундант виконт д’Аршиак.

Около 1840 года Дантесу удалось, хотя и с большим трудом,

получить место во французском министерстве иностранных дел; в 1848 году он попал в члены парижского национального собрания, а в 1852-м послан был со специальной миссией к посетившему тогда Берлин Императору Николаю I; но Русский Монарх его не принял.

Затем известно, что Дантес носил во время второй Французской империи звание сенатора, а по последним сведениям, предстал на суд Божий 23-го октября 1895 г. в Эльзасском городе Сульце.

Жена его скончалась гораздо раньше, оставив ему сына и трех дочерей; из них одна вышла замуж за Вандаля, бывшего едва ли не одним из министров Наполеона III.

…О Георге Дантесе-Геккерене наш поэт Тютчев выразился в своем стихотворении так:

Будь прав или виновен он,
Пред нашей правдою земною
Навек он высшею рукою
В цареубийцы заклеймен.

Заключаю грустное исследование о кончине моего дяди следующей выдержкой из письма моей матери к ее отцу – Сергею Львовичу Пушкину – из Варшавы 19-го сентября 1837 года о разговоре между нею и супругою генерал-фельдмаршала И. Ф. Паскевича (подлинник на французском языке):

«Елизавета Алексеевна меня уверяет, милый папа, что если бы Александр расстался с Петербургом за два или за три месяца до истории, то избегнул бы несчастья. Ему вовсе не следовало ни ехать в деревню, ни выходить в отставку, а просто-напросто (en tout bien, tout honneur) переселиться сюда, в Варшаву. Ее муж, любимец Государя, одним почерком пера зачислил бы Александра в свою дипломатическую канцелярию, где служат не только камер-юнкеры, но и камергеры, да и многие другие старинные русские дворяне. Княгиня полагает, что Александру было бы здесь гораздо лучше вдали от врагов, а фельдмаршал сумел бы его защитить. Точно так же, как и в Петербурге, Александр посвящал бы себя божественному поэтическому дару, не жил бы выше средств, между тем как в Петербурге истрачивал бешеные деньги и покупал себе огорчения да несчастья непомерной ценой. *«Верьте мне,* – сказала княгиня, – *если бы я только подозревала ужасный заговор неприятелей вашего брата, то сумела бы вовремя избавить его от них…»*

Судьбе было угодно распорядиться иначе…

Луи Метман
Жорж-Шарль Дантес
Биографический очерк

Семья Дантесов была родом с острова Готланда. В 1529 году мы находим ее утвердившеюся в Вейнгейме, в Пфальце, где представители ее, в несколько приемов, исполняют обязанности консулов[64].

Жан-Анри Дантес, родившийся в Вейнгейме 2 января 1670 года, поселился в Верхнем Эльзасе, где у его отца в Бельфоре был чугуноплавильный завод, а в Жироманьи серебряные копи. Он стал управлять железоделательным заводом в Обербрюке и создал там королевскую мануфактуру для выделки жести, для которой он получил исключительные привилегии, с освобождением от таможенных пошлин в силу писем-патентов от 14 сентября 1720 года.

Около 1720 года он приобрел имение в Сульце (Верхний Эльзас), которое сделалось обычным местопребыванием его семьи.

Потомство сына его, *Жана-Филиппа Дантеса,* продолжается в его третьем сыне:

Жорж-Шарль-Франсуа-Ксавье Дантес родился в Кольмаре в 1739 году. 22 июля 1771 г. он женился на Марии-Анне-Сюзанне-Жозефе, баронессе Рейттнер де Вейль, от которой имел семерых детей; четверых сыновей и трех дочерей.

Во время революции он эмигрировал; имение его было секвестровано, но, благодаря тайным друзьям, дом, в котором жила семья, был превращен в тюрьму и таким образом не был отчужден.

Вернувшись в Сульц 10 Прериаля года V, он был прощен за эмиграцию, и 16 Брюмера года X его имущество было ему возвращено.

Его второй сын, *Жозеф-Конрад,* продолжает прямую линию и является отцом *Жоржа-Шарля Дантеса, барона Геккерена.*

Жозеф-Конрад, барон Дантес, владелец Блоцгейма, родился в Сульце 8 мая 1773, обучался в Королевской военной школе Pont-a-Mousson, затем служил офицером в Королевском германском полку и принадлежал к военным частям, которые, повинуясь маркизу де Буилье, в июне 1791 сделали попытку оказать содействие бегству короля Людовика XVI в Варенн. Во время эмиграции он жил в Германии, вблизи своего дяди и крестного

отца, барона Рейттнера, командора Тевтонского ордена.

Вернувшись с отцом в Сульц, он в этом же городе 29 сентября 1806 года женился на Марии-Анне-Луизе, графине Гацфельдт, родившейся в Майнце 8 июля 1784.

Мария-Анна-Луиза была единственной дочерью Лотаря-Франсуа-Жозефа, графа Гацфельдта, генерал-майора на службе у Майнцкого Электора и капитана его конной гвардии, и Фредерики-Элеоноры, графини Вартенслебен.

Граф Гацфельдт был младшим братом Франца-Людвига, первого князя Гацфельдта (1756–1827), ставшего объектом милосердия императора Наполеона I (октябрь 1806), поступка, получившего известность благодаря изображению на картине. Губернатор Берлина во время французской оккупации, он был приговорен к смерти Военным советом за то, что, по-видимому, сообщил в письме прусскому правительству сведения о наличном составе французской армии. Но вследствие неотступных просьб его жены, бывшей на третьем месяце беременности, император помиловал его.

Жена графа Гацфельдта, Фредерика-Элеонора Вартенслебен, принадлежала к старинному дворянскому роду; ее сестра была *графиня Мусина-Пушкина,* жена посланника императрицы Екатерины II при английском дворе.

В 1823 году барон Дантес, будучи уже членом Генерального совета Верхнего Рейна, был избран в палату депутатов. Он заседал в ней до 1829 года. Будучи весьма привязан к своим родным местам, он жил в Париже лишь в течение законодательных сессий и делил свое время между имением в Сульце и Кольмаром, где у него был дом.

По традициям семьи он принадлежал к правой законодательного собрания.

Будучи любим коллегами за прямоту и лояльность, стремясь оказать соотечественникам всевозможные услуги, он сумел приобрести общую любовь и уважение достойным характером своей общественной деятельности и простой семейной жизни. После революции 1830 года барон Дантес вернулся к частной жизни; он был кавалером ордена Почетного легиона.

От брака с Марией-Анной Гацфельдт у него было шестеро детей.

Жорж-Шарль был третьим ребенком и старшим из сыновей барона Дантеса. Он родился в Кольмаре 5 февраля 1812 года.

Первоначальное обучение он получил в Эльзасе в колледже Chapelle sous Rougemont, в округе Верхнего Рейна, а последующее в Париже в Бурбонском лицее. Несмотря на рекомендацию генерала, графа Рапп, не будучи принят, за недостатком места, в

пажеский корпус Карла X, директором которого был его дядя по отцу, граф де Бель-Иль, генерал-майор, он пожелал поступить в военную школу Сен-Сир, куда и был принят в 1829 году четвертым учеником. В июле 1830 г. он участвовал в отрядах школы, которые вместе с полками, сохранившими верность, попытались на площади Людовика XV защищать в Париже дело Карла X, который вскоре был принужден ехать в изгнание. Но отказавшись, вместе с несколькими своими товарищами, служить Июльской монархии, он должен был покинуть военную школу, и, после того как в течение нескольких недель состоял среди приверженцев, группировавшихся в Вандее вокруг герцогини Беррийской, он вернулся к отцу, которого застал глубоко удрученным политическими переменами, уничтожавшими законную монархию, которой он служил как по традиции, так и по симпатии.

В самом деле, в другой день после революции, разрушившей все его надежды, молодой человек с живым и независимым нравом, какой был у Жоржа Дантеса, не мог найти приложения своим способностям в однообразной провинциальной жизни, которая выпала ему на долю.

Кончина баронессы Дантес в 1832 году еще усилила для него грусть семейного очага. Жорж Дантес, отдалившийся, в силу роялистских взглядов своих родных, от правительства, которое было призвано ко власти Францией, решил поступить на службу за границу, согласно обычаю, довольно часто практиковавшемуся в то время.

Семейные связи, по-видимому, должны были помочь ему устроиться в Пруссии, и, благодаря покровительству наследного принца Вильгельма, он мог бы быть принят в полк, если бы ему подошел чин унтер-офицера. Но для воспитанника Сен-Сира, который выходил из военной школы после двух лет обучения офицером, это было бы понижением, и Жорж Дантес отказался. Наследный принц прусский, продолжая ему покровительствовать, посоветовал ему тогда отправиться в Россию, где его родственник император Николай I должен был выказать благосклонность французскому легитимисту. Прибыв с такой высокой рекомендацией в С.-Петербург, Жорж Дантес был уверен, что найдет себе здесь покровителей.

Граф Адлерберг занялся им, порекомендовал ему учителей; последние дали ему возможность успешно выдержать экзамен, которому он обязан чином корнета в кавалергардском ее величества полку. Еще ранее от французского правительства он имел разрешение служить в иностранном государстве, не теряя своей национальности. В 1836 году он получил повышение и был

зачислен поручиком этого полка.

Знаки внимания, оказанные ему в нескольких случаях императором Николаем I, семейные связи его в Германии и в России, где Жорж Дантес разыскал свою бабушку по материнской линии, графиню Мусину-Пушкину[65], внешность которой портреты той эпохи изображают весьма очаровательною, – создали вскоре молодому офицеру видное положение в салонах С.-Петербурга.

Он имел счастье встретить барона Геккерена-Беверварта, посла короля Голландии при российском дворе, и барон Геккерен, увлеченный умом и красотой Жоржа Дантеса, принял в нем участие и вступил в правильную переписку с его отцом, бароном Дантесом, который сразу выказал благодарность за покровительство, способное выдвинуть его сына, как на военном поприще, так и в области его светских связей[66].

Барон Луи Борхард де Геккерен родился в 1792 году. Он принадлежал к протестантской семье старинного голландского рода, которого он был последним представителем[67]. В 1805 году он вступил в морское ведомство в качестве гардемарина. Первый порт, куда он был назначен, был Тулон. Благодаря его службе при Наполеоне I, он сохранил навсегда живую симпатию к французским идеям.

События 1815 года прервали его морскую карьеру. Поступив на службу в дипломатический корпус у себя на родине, ставшей вновь независимой, он был назначен в 1815 году на пост секретаря посольства в Стокгольм. Его карьера отличалась быстротой, так как в 1832 году, в возрасте сорока двух лет, он был уже посланником в С.-Петербурге. Тесная дружба связывала его в молодости с герцогом Роган-Шабо, который, прослужив в чине полковника в армиях императора, пережил ужасное несчастье, а именно: лишился своей молодой жены, сгоревшей вследствие неосторожности. В «отчаянии приняв монашество, герцог де Роган весьма быстро достиг высших духовных степеней; ему было суждено умереть кардиналом-архиепископом Безансона в 1833 году. Во время своего пребывания в Риме кардинал де Роган убедил своего друга принять католичество, что несколько лет спустя позволило барону Геккерену вести переговоры с Григорием XVI по поводу конкордата, возникшего между первосвятителем римским и Голландией. Эта перемена религии несколько отдалила барона от его семьи.

Таким образом, чисто французское образование и отдаленное свойство, могшее существовать между бароном Геккереном и рейнскими семьями, с которыми состоял в родстве Жорж Дантес по отцу и по матери, объясняют дружбу, возникшую между двумя

людьми с весьма различными, на самом деле, характерами и вкусами.

Во всяком случае, горячая привязанность голландского посла, его уравновешенный ум могли оказать лишь самое благодетельное влияние на пылкий характер молодого двадцатитрехлетнего человека, который, вращаясь в блестящем обществе, должен был не только опасаться увлечений, свойственных его живому нраву, но, кроме того, и защищаться еще от зависти тех, которые недобрым взглядом смотрели на иностранца, преуспевавшего на службе и блиставшего в петербургских гостиных.

Эти чувства явствуют из каждой строчки переписки между бароном Геккереном и бароном Конрадом Дантесом. Поэтому-то последний и не был изумлен, когда голландский посланник, будучи бездетным, попросил у него разрешения передать свое имя молодому человеку, за карьерой которого он следил с отеческой нежностью. Г. Дантес тем охотнее согласился на почетное предложение, что надеялся, что его младший сын Альфонс, весьма привязанный к Эльзасу, останется близ него, женится для продолжения рода и будет помогать ему в управлении имуществом, заключавшимся в собственности, требовавшей сложного и постоянного надзора.

В 1834 году барон Геккерен воспользовался поездкой в Париж, чтобы посетить Эльзас и познакомиться с господином Дантесом и его семьей.

После того как согласие членов семьи Геккеренов было изложено в особом акте, король Голландии грамотой от 5 мая 1836 года разрешил Жоржу-Шарлю Дантесу принять имя, титул и герб барона Геккерена, как лично для него, так и для его потомства[68].

В следующем месяце под этим новым именем он был занесен в списки русской армии (письмо графа Нессельроде к барону Геккерену – архив барона Геккерена-Дантеса).

В салонах С.-Петербурга Жорж Геккерен встретился с госпожой Пушкиной, и если он имел неосторожность выказать ей некоторое внимание, то вражда и злоречие весьма скоро исказили характер тех светских отношений, которые существовали между ним и ею. В самом деле, иное чувство, кроме чувства восхищения, которое могла внушать изумительная красота госпожи Пушкиной, заставляло его посещать дом, где он познакомился со старшей сестрой, Екатериной Гончаровой[69], возвышенный ум и привлекательная внешность которой увлекли его.

Поэт был, однако, встревожен той близостью, которой он не мог себе объяснить: анонимное письмо раздражило его до такой

степени, что 16 ноября 1836 года он бросил Жоржу Геккерену словесный вызов, от которого затем отказался сначала *устно,* а затем и *письменно,* по особой просьбе своего противника.

Письмо, текст которого, написанный рукою Пушкина, хранится в архивах барона Геккерена, было, по-видимому, первой редакцией, не удовлетворившей Жоржа Геккерена, вследствие намека на предполагаемый брак. Копия второй редакции, весьма отличная от первой, сопровождаемая заметкой, подчеркивающей ее дух, хранится в том же архиве на месте подлинного текста, который, быть может, находится в числе документов судебного процесса. Как бы то ни было, этот документ устанавливает, что Жорж Геккерен должен был объявить о своей женитьбе лишь после дуэли, чтобы Пушкин не имел права рассматривать эти планы как отступление со стороны своего противника.

Бракосочетание было совершено в католической и в православной церквах 10 января 1837 года. Свидетели были в одной – барон Геккерен-Беверварт и действительный статский советник граф Григорий Строганов, родной дядя невесты, в другой – Огюстен де Бетанкур, капитан Кавалергардского полка, и виконт д'Аршиак, родственник жениха и состоявший при французском посольстве; госпожа Гончарова, урожденная Загряжская, не могла выехать из деревни, поэтому дядя и тетка невесты, граф и графиня Строгановы, были посажеными отцом и матерью; родители Жоржа Геккерена были представлены послом Голландии и графинею Нессельроде[70].

После свадьбы отношения между обоими домами остались корректными, хотя и холодными.

Вследствие многочисленных анонимных писем, почерк которых менялся постоянно, но которые носили характер несомненного тождества и, благодаря этому, являлись доказательством злостной интриги, Пушкин написал голландскому послу, барону Геккерену, оскорбительное письмо, которое побудило Жоржа Геккерена вступиться за оскорбление, посягавшее на честь не только того, чье имя носил Жорж, но и на честь его самого.

Переговоры, предшествовавшие печальному событию января 1837 года, известны; все относящиеся к нему документы были опубликованы. Жорж Дантес явился на место дуэли в сопровождении виконта д'Аршиака, состоявшего при французском посольстве и родственника семьи Дантесов.

После дуэли Жорж Геккерен, раненый, был заключен в Петропавловскую крепость. Над ним был наряжен суд. В своих показаниях, от которых сохранились неразборчивые черновики, он не переставал твердить о невинности госпожи Пушкиной и о

чистоте тех чувств, которые она могла ему внушить. Помилованный императором во внимание к нанесенному ему тяжкому оскорблению, он был выслан за границу.

Его жена, никогда не сомневавшаяся в его привязанности к ней, нагнала его в Берлине, в сопровождении барона Геккерена, который среди этих обстоятельств выказал тем, кого он называл своими детьми, самую нежную преданность.

Несколько недель спустя молодые уехали в Эльзас и поселились в Сульце, в отцовском доме, где господин Дантес отвел им помещение. 19 октября того же года здесь родилась их старшая дочь Матильда-Евгения.

Жорж Геккерен горячо любил жену и выказывал ей свою любовь и доверие, о которых дети сохранили устные и письменные свидетельства. Несколько кратких писем, написанных им невесте в недели, предшествовавшие их союзу, записки, какими обмениваются молодые люди, влюбленные друг в друга и ежедневно встречающиеся в одном и том же городе, – показывают развитие любви, обоюдная искренность которой разрушает все клеветы, которыми пытались исказить ее характер.

К тому же Екатерина Гончарова вполне заслужила такую горячую преданность. Она была высока ростом и стройна. Ее черные, слегка близорукие глаза оживляли лицо с изящным овалом, с матовым цветом кожи. Ее улыбка раскрывала восхитительные зубы. Стройная походка, покатые плечи, красивые руки делали ее с внешней стороны очаровательной женщиной. Муж, родные, друзья – все, кто ее знал, в своих свидетельствах изображают ее как отменную супругу и страстную мать.

В общем, в этой двойной любви, которую она питала к мужу и к детям, и должна выразиться история счастливых лет, проведенных ею в Эльзасе.

Жизнь была проста в большом старом доме, которым в Сульце, близ Кольмара, владел ее свекор, барон Дантес. Он был окружен многочисленной семьей, сыновьями, незамужними дочерьми, родственниками, которых он приютил после падения Карла X. Дом, с высокой крышей, по местному обычаю, увенчанный гнездом аиста, просторные комнаты, меблированные без роскоши, лестница из вогезского розового камня, – все носило характер эльзасского дома состоятельного класса. Скорее городской дом, нежели деревенский замок, он соединялся просторным двором, превращенным впоследствии в сад, с фермой, которая была центром земледельческой и винодельческой эксплуатации фамильных земель. Боковой флигель, построенный в XVIII веке, был отведен молодой чете.

Она могла жить в нем совершенно отдельно, в стороне от политических споров и местных ссор, которые временами занимали, не задевая, впрочем, глубоко, маленький провинциальный мирок, ютившийся вокруг почтенного главы семейства, преданного идеям былого.

По переписке, которою Екатерина Геккерен обменивается с матерью и с прочими родственниками, по письмам, ответы на которые хранятся в архивах Сульца, чувствуется на каждой странице, что если молодая женщина и продолжает интересоваться братьями и сестрами, то живет все-таки лишь для тех, кто ее окружает, для мужа, которого она обожает, для дочерей, за физическим и нравственным воспитанием которых она следит шаг за шагом.

Барон Геккерен, покинувший в первые месяцы 1842 года пост посла в Петербурге для того же поста при венском дворе, входил в жизнь молодой четы многочисленными свидетельствами своего участия. Екатерина Геккерен охотно посещала одно имение, лежащее в долине Массево, близ Сульца, и расположенное на одном из уступов Вогез, с великолепным видом; он поспешил купить небольшой участок земли Шиммель, построил там простой дом и подарил его детям, чтобы они могли проводить там летние месяцы вполне интимно. Он пригласил их в 1842 году погостить у него несколько месяцев в Вене, с тремя их девочками. Акварельный портрет, копия с которого была послана бароном Геккереном-Беверварт госпоже Гончаровой в ее имение Полотняный Завод, изображает их сидящих красивой группой, в широком кресле. Портрет этот сохранился там до сих пор[71].

Путешествие в Вену, редкие поездки в Баден-Баден, где Жорж Геккерен видался с некоторыми петербургскими товарищами и друзьями, и откуда его шурин, Иван Гончаров, посетил свою сестру в Сульце, путешествие в Париж (1838), во время которого была написана миниатюра, один из двух портретов Екатерины, написанных за время ее замужества, летние месяцы, проводимые в Шиммеле, вместе с рождением трех дочерей[72], суть самые крупные события семейной жизни, полной интимности и взаимного доверия.

Но мечта Екатерины могла сбыться лишь в тот день, когда она подарит своему мужу сына.

Последняя беременность принесла ей эту надежду. Несмотря на то что она осталась православной, она посещала римско-католические церкви и усердно присутствовала на службах. К этому времени относится воспоминание о богомолье, которое она совершила со смирением, босая, согласно местному обычаю, в маленькую соседнюю часовню, которая укрывает чудотворную

мадонну. Ее мольбы были услышаны. 22 сентября 1843 года она родила сына, Луи-Жозефа-Жоржа-Шарля-Мориса. Но несколько недель спустя родильная горячка, серьезность которой с самого начала не давала почти надежды, унесла эту избранную женщину.

Она принесла в жертву свою жизнь вполне сознательно. Ни одной жалобы не слетело с ее уст во время агонии; ее единственные слова были молитвы, в которых она благодарила небо за счастливые минуты, посланные ей с минуты замужества.

Она умерла 15 октября 1843 года и похоронена на кладбище Сульца в фамильном склепе.

Несколько писем, написанных лечившим ее доктором Вестом, бывшим другом детства ее мужа, почти ежедневно держали барона Геккерена, жившего тогда в Вене, в курсе болезни, роковой исход которой был неизбежен. Они рисуют с разительной реальностью опасения родных, а также любовь и преданность, которые баронесса Геккерен сумела внушить всем, кто ее окружал.

Горе ее мужа было глубоко. Он остался вдовцом в 30 лет, с четырьмя детьми, из которых старшей девочке было едва шесть лет. Воспоминание о женщине, которую он любил, никогда не покидало его. В блестящем положении, которое он занял впоследствии, он неизменно отказывался от новой женитьбы.

Его дети и внуки сохранили память о словах, в коих он непрестанно говорил о той, которая принесла ему самое полное супружеское счастье.

Смерть Екатерины Гончаровой не прервала сношений Жоржа Геккерена с Россией. Судя по обмену писем, эти связи сделались даже теснее. Его теща, госпожа Гончарова, в длинных письмах выражает ему свою любовь и доверие. С живым интересом следит она за воспитанием и развитием внучат. Она предполагает совершить даже путешествие в Эльзас, осуществлению которого мешает плохое состояние ее здоровья.

После ее смерти Жорж Геккерен несколько раз принимал в Сульце своих племянников, а его дочери поддерживали дружеские отношения со своими двоюродными сестрами.

Мужчина в возрасте Жоржа Геккерена не мог остаться без дела. Потребность его в деятельности, лежавшая в основе его характера, должна была послужить исходом и для его горя, а так как его дети нашли у его незамужних сестер самые нежные материнские заботы, то вскоре он выступил на политическом поприще, согласно традициям семьи.

В 1845 году он сделался членом Генерального совета Верхнего Рейна; 28 апреля 1848 года он был избран народным представителем в Национальное собрание и 13 мая 1849 года был

переизбран в Учредительное собрание количеством 34 000 голосов.

Обладая ясным умом, преданный друзьям, он вскоре выдвинулся в первые ряды: назначаемый секретарем в различных собраниях, следовавших одно за другим в Бурбонском дворце между 1848 и 1851 годами, он пользовался действительным влиянием на своих коллег. В 1848 году (1 мая) во время вторжения народной толпы в Палату он спас жизнь одному приставу, защитив его своим телом. Литография художника Бономе напоминает эту историческую сцену со всеми различными обстоятельствами: мужественный поступок депутата Верхнего Рейна изображен в ней на первом плане. Блестящий и остроумный собеседник, он был постоянным посетителем салонов Тьера, княгини Ливен[73] и госпожи Калержи[74].

В 1850 году, несмотря на легитимистские привязанности его семьи, он присоединился к принцу Луи-Наполеону, полагая, что его родина может вновь обрести покой лишь при условии сильной власти. Таким образом он очутился в числе политических деятелей, образовавших Комитет, известный под именем Комитета улицы Пуатье, и подготовивших водворение Империи.

В важных обстоятельствах принц-президент решил, что он может рассчитывать на ум и на такт барона Геккерена. Облеченный Луи-Наполеоном в мае 1852 года тайной миссией ко дворам Вены, Берлина и Петербурга, он должен был привести в Париж уверения в том, что восшествие на императорский престол принца-президента будет принято дворами северных держав.

Принятый благосклонно в Вене, затем в Берлине, он получил особые аудиенции у государей обеих держав. В последнем городе 22 мая он выполнил ту же миссию при императоре Николае Павловиче, гостившем у своего родственника, короля Пруссии. Царь выказал ему благосклонность, напомнил о его службе в русской армии и разрешил со всей откровенностью высказать ему пожелания и надежды принца Луи-Наполеона.

Кресло сенатора[75] вознаградило в 1852 году успех этой миссии. Барон Геккерен вступил в это высокое собрание сорока лет от роду, будучи моложе всех своих коллег. Всегда верный политике императора, хотя в 1859 году он и мало сочувствовал французским операциям в Италии, он нередко имел случай принимать участие в прениях, то по крупным вопросам внешней политики[76], то с целью поддержки эльзасских интересов, получая от национальных властей разрешение на постройку железнодорожных линий, необходимых для развития промышленности в долинах Верхнего Рейна. Благодаря его

связям в дипломатическом мире[77], его осведомленности об иностранных дворах, которою он был обязан барону Геккерену, нидерландскому послу в Вене, он бывал неоднократно вовлекаем в щекотливые переговоры. В последние годы Империи политическое положение барона Геккерена было видное: председатель Генерального совета Верхнего Рейна, мэр Сульца, он был произведен в кавалеры ордена Почетного легиона 12 августа 1863 года и в командоры ордена 14 августа 1868 года. Он не писал мемуаров и не оставил после себя никаких записок, которые относились бы к его политической карьере[78].

Следует напомнить, наконец, что его практическое чувство действительности оказало ему большие услуги в процессе финансового роста, отметившего годы процветания Второй империи; благодаря его близости к братьям Перейр, он был в числе первых учредителей некоторых кредитных банков, железнодорожных компаниий, обществ морских транспортов, промышленных и страховых обществ, которые возникли во Франции между 1850 и 1870 годами.

Незамужняя сестра барона Геккерена, Адель Дантес, взяла на себя заботу о воспитании четверых малолетних детей, которых Екатерина Гончарова, умирая, оставила мужу. С необыкновенной преданностью она воспитала своих племянниц так, как они были бы воспитаны тою, от которой, по словам современников, они унаследовали некоторые физические и моральные качества, и особенно ту природную грацию, которая составляет одну из очаровательных черт славянской расы.

Дочери барона Геккерена[79] были с первой же минуты их появления в свете весьма отмечены. Императрица Евгения выказала им свою благосклонность, по-матерински интересуясь их судьбой. Она допустила их в интимный круг Тюльери и осенних местопребываний двора в Компьене и Фонтенбло.

В 1861 году Матильда-Евгения, старшая дочь, вышла замуж за бригадного генерала Жана-Луи Метмана, командора ордена Почетного легиона, во время итальянской кампании командовавшего одним из полков императорской гвардии, сопротивление которого обеспечило победу при Маджента. Она умерла в Париже 29 января 1893 года.

В 1864 году барон Геккерен выдал замуж вторую дочь Берту-Жозефину (1839–1908) за Эдуарда, графа Вандаля (1813–1889), государственного советника, главного директора почт, командора ордена Почетного легиона, оставившего видное имя во французской администрации. Графиня Вандаль умерла в Аржантане 17 апреля 1908 года[80]. Ее сестра, Леони-Шарлотта, остававшаяся незамужней, умерла в Париже 30 июня 1888 года.

Его сын Луи-Жозеф-Морис-Шарль-Жорж де Геккерен-Дантес с физическими качествами соединял необыкновенное мужество и энергию.

После первого путешествия в Чили он двадцати лет поступает на службу, едет в Мексику и участвует в походе в качестве офицера от 1863 до 1867 года. Возвращается во Францию тяжело раненный, и в приказе по армии объявляют о его подвиге, который занесен в историю Мексиканской экспедиции под названием дела при Котитлане.

Тотчас по объявлении войны Пруссии (июль 1870) он поступил простым солдатом в полк конных охотников и принимал участие во всех битвах под Мецом. После Гравелотта о нем было объявлено в приказе по армии, и он был награжден орденом Почетного легиона. Он был гоффурьером.

Чтобы не подвергнуться последствиям сдачи Меца, он переоделся крестьянином и, благодаря своему знанию немецкого языка, прошел через линии прусских войск, причем был два раза остановлен.

Добравшись до Тура, он предоставил себя в распоряжение правительства национальной обороны.

Возвращенный в чине поручика в охотничий полк, он в этом чине участвовал в Луарском, а затем и в Восточном походе, в 24-м корпусе.

Произведенный в капитаны на поле битвы при Виллерсексель, он последовал за восточной армией в ее отступлении, но после того, как его солдаты вступили на швейцарскую территорию, он снова перебросился во Францию. Когда он приехал в Бордо, война была окончена, и его военная карьера завершена.

Двенадцать лет спустя, 11 января 1883 года, он женился в Сульце на Марии-Луизе-Виктории-Эмилии Шауэнбург-Люксембург, родившейся в Оберкирхе (Великое Герцогство Баденское) и принадлежавшей к старинной дворянской фамилии Великого Герцогства Баденского, одна ветвь которой долго жила в Эльзасе.

Падение Империи закончило в 1870 году политическую жизнь барона Геккерена. Во исполнение статьи Франкфуртского договора, предоставлявшей эльзасцам право избирать себе национальность, он выбрал французскую национальность.

С тех пор он разделял свое существование между Эльзасом, Сульцем, – из которого после смерти отца в 1852 году он сделал более уютное жилище, окруженное большим садом, – Шиммелем и Парижем.

Портрет Каролюса Дюран, помеченный 1878 годом, одна из

лучших работ художника, изображает барона Геккерена в его бодрой старости, которая, невзирая на жестокие припадки подагры, сохранила его уму всю его ясность.

Он изображен прямо сидящим в кресле и держащим в свисающей руке еще горящую сигару, с несколько высокомерно закинутой головой, что было для него привычно и что мы видим и на маленьком портрете, писанном с него в Петербурге, на котором он изображен в кавалергардском мундире.

Серебристо-белые, откинутые назад волосы, длинные усы и густая бородка обрамляют мужественное лицо, с крупными чертами, со свежим цветом кожи. Темно-голубые глаза смотрят прямо и пристально, что было отличительной чертой его своеобразного лица, и дополняют живой образ барона Геккерена за последние двадцать лет его жизни.

В 1875 году барон Геккерен-Беверварт переехал в Париж к детям после шестидесяти лет деятельной службы. Он покинул пост нидерландского посла в Вене, который он занимал с 1842 года и где давно уже был старшиной дипломатического корпуса.

Вплоть до смерти, наступившей 27 сентября 1884 года (ему было около 89 лет), он сохранил свой живой ум, свое колкое остроумие.

Его внукам, видевшим его, нетрудно было узнать в этом восьмидесятилетнем старике, с изящными манерами, дипломата, который в Петербурге и в Вене был коллегой графа Нессельроде, принца Меттерниха, принца Шварценберга, графа Буоля, этих вдохновителей европейской политики девятнадцатого века.

Жорж-Шарль Дантес, барон де Геккерен, пережил своего приемного отца одиннадцатью годами. Он умер в возрасте 83 лет в Сульце (Верхний Эльзас) 2 ноября 1895 года, в родном доме, окруженный детьми, внуками и правнуками[81].

Париж, 5 февраля 1912 г.

notes

Примечания

1

О мертвых либо хорошо, либо ничего *(лат)*.

2

Неожиданная развязка *(фр)*.

3

Любовь с первого взгляда *(фр)*.

4

Это было предопределено *(фр.)*.

Загряжской.

6

Радость *(фр.)*.

7

Счастье *(фр.)*.

8

Екатерина Ивановна Загряжская скончалась 18 августа 1842 г. – *Примеч. ред.*

9

Молитва в течение девяти дней.

10

Александра Николаевна – старшая сестра Н. Н. Пушкиной.

11

Счета *(фр.)*.

12

Как это красиво! Откуда это у вас? *(фр.)*

13

Ведь это ваш подарок, тетя, разве не узнали? *(фр.)*

14

В самом деле! Я так рассеянна! Не хочу хвастать, а все-таки очень красиво! *(фр.)*

15

Законный наследник *(фр)*.

16

Сонаследник *(фр)*.

17

1855 г.

18

Появление, которое произвело сенсацию *(фр.)*.

19

Однако же, что значит туалет! Довел до того, что даже и я показалась недурной сегодня вечером! *(фр.)*

20

Как недурной! Красавицей, величаво-прекрасной, следует сказать. Вы были самым поэтическим видением! *(фр.)*

21

Из книги В. В. Вересаева «Пушкин в жизни».

22

Муж красавицы Марии Антоновны, бывшей в связи с императором Александром I и имевшей от него дочь.

23

Кривоногий *(фр.)*.

24

Мих. Л. Яковлев, лицейский товарищ Пушкина, родился 19 сентября (см. *Н. А. Гастфрейнд.* Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицею, II. 221). Очевидно, праздновался не день его рождения, а день ангела – 8 ноября.

25

Мои предшественники *(фр)*.

Открытия *(фр)*.

27

Датировка этого письма, как и следующего, по Щеголеву («Дуэль»).

28

«Геккерен упирался и говорил, что невозможно приступить к осуществлению брачного проекта до тех пор, пока Пушкин не возьмет вызова, ибо в противном случае в свете намерение Дантеса жениться на Гончаровой приписали бы трусливому желанию избежать дуэли. Упомянув в конспекте о посещении Геккерена, Жуковский записывает: «Его требование письма». Путь компромисса был указан, и инициатива замирения, по мысли Геккерена, должна была исходить от Пушкина. Он, Пушкин, должен был послать Геккерену письмо с отказом от вызова. Этот отказ устраивал бы господ Геккеренов. Но Пушкин не пошел и на это. «Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает о сватовстве», – записывает в конспекте Жуковский. Эта запись легко поддается комментарию. Пушкин соглашался написать письмо с отказом от вызова, но такое письмо, в котором было бы упомянуто о сватовстве, как о мотиве отказа. Пушкин хотел сделать то, что Геккерену было всего неприятнее. Есть основание утверждать, что такое письмо было действительно написано Пушкиным и вручено Геккерену-отцу. Но оно, конечно, оказалось неприемлемым для Геккеренов». Д. Щеголев, с. 85.

29

Т. е. сватовство Дантеса к Е. Гончаровой.

30

Почти дословно *(фр)*.

31

День рождения Ек. Андр. Карамзиной (вдовы историка), 16 ноября (Щеголев. «Дуэль»).

32

Я говорил, что на Пушкина надо было глядеть, как на больного, а потому можно несколько мелочей оставить в стороне. Записка Соллогуба, бывшая в распоряжении Анненкова. *Б. Модзалевский.* Пушкин.

33

Г-н Дантес просит твоей руки *(фр.)*.

34

Ты этого хотел, Жорж Данден *(фр.)* – фраза из пьесы Мольера, ставшая поговоркой.

35

Ек. Ник. Мещерская приехала в Петербург, по-видимому, в первой половине декабря 1836 г. Брат ее Андрей Ник. Карамзин писал про нее матери из Парижа 25 декабря: «так как Катенька теперь с вами, то надеюсь, что и ее милый почерк найду иногда в ваших письмах» (Стар. и Новизна, XVII, 244). Письмо из Петербурга в Париж в то время шло около двух недель.

36

Тургенев жил в гостинице Демута, по Мойке, недалеко от Пушкина.

Относительно Александрины *(фр.)*.

Резкости *(фр.)*.

39

Фрейлинами могли быть только девицы.

40

Пойдем, моя законная! *(фр.)*

41

Непереводимая игра слов, основанная на созвучии: «cor» – мозоль, «corps» – тело. Буквально: «Он мне сказал, что мозоль (тело) жены Пушкина прекраснее, чем моей» *(фр.)*.

42

Буквально: «Я теперь знаю, что у вас мозоль красивее, чем у моей жены»! *(фр.)*

43

Два раза будешь в изгнании; будешь кумиром твоего народа; может быть, проживешь очень долго, но в 37-летнем возрасте опасайся белой лошади, или белого человека, или белой головы.

Погиб поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой…

Из этих детей скончались в малолетстве: Николай, Павел, Михаил, Платон и София. Николай умер в 1807 году, будучи моложе поэта, но старше Льва Сергеевича. Замечателен о нем рассказ моей матери: этот младенец, еще совершенно здоровый, постоянно мечтал о будущей жизни, и часто задавал Александру Сергеевичу и Ольге Сергеевне вопросы: «Скажите, как живут ангелы, есть ли в раю цветочки, деревца, речка?» и, засыпая, говорил: «Скоро в рай полечу, у меня будут крылышки беленькие! У, там хорошо! И вы будете там, но еще не скоро. Божинька добрый, всех нас любит».

Франт, щеголь *(фр)*.

Распущенность *(фр)*.

47

Письмо это у меня.

Милоски, издатель литературного журнала *(фр)*.

49

Мой милый, этот человек производит на меня впечатление двуликого Януса *(фр)*.

50

Барон Н. Р. Бистрам, сын родной внучки Ибрагима Петровича Ганнибала, Фелицианы Адамовны, рожденной Роткирх, был особенно дружен с сестрой и братом поэта, Львом. Женат был на графине Ванде Киприановне Крейц, дочери известного боевого генерала. Скончался в Нарве в семидесятых годах. Отличаясь неистощимой веселостью, он говорил смеясь: «Хотя я и русский, но русской крови во мне ни капли. Ганнибал – негр – женился на немке, его дочь вышла за немца, а внучка тоже за немца – моего фатера. Значит, как же мне не любить немецкого языка?» Женатый в свою очередь на немке, Бистрам предпочитал объясняться и с детьми по-немецки.

51

Барон Бистрам ошибся. Не в салоне Бобринской, а за обедом в ресторане Дюме они познакомились.

52

Е. Н. и А. Н. Гончаровы поселились у Пушкиных в Петербурге с 30 сентября 1834 г., т. е. через 3,5 года после свадьбы поэта. – *Примеч. ред.*

53

Довольно грубо над этим посмеялся Дантес на одном бале, увидя Пушкина, входящего с женою и свояченицами: «Voila le pacha a trois queues» («Вот трехбунчужный паша»).

54

Это письмо, не отосланное по адресу, найдено в кармане сюртука моего дяди после поединка. Князь Петр Андреевич Вяземский видел его у секретаря графа Бенкендорфа, г-на Миллера.

55

Мне наплевать *(фр.)*.

56

После того, как Соллогуб приехал к дяде по поручению своей тетки Васильчиковой передать полученный ею на имя Пушкина конверт, Пушкин вскрыл конверт и увидел в нем другой экземпляр полученного им раньше анонимного пасквиля об избрании его, Александра Сергеевича Пушкина, коадъютором и историографом ордена рогоносцев.

57

В действительности – 10 января.

Их обоих обвинял в Варшаве и известный юрист и славянофил Вацлав Мацеевский; хотя католик и поляк, он презирал Гагарина за переход в католичество, а Долгорукова за ненависть к своей родине – России, и выразился об этих двух субъектах моей матери довольно характерно: «Oby dwa sa istotami z pod ciemnej gwiazdy» (Оба они существа из-под мрачной звезды)

59

Елизавета Михайловна, по первому браку графиня Тизенгаузен, дочь генерал-фельдмаршала князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского.

60

Встретив Геккерена-старшего, Пушкин вынул из кармана примирительное письмо Дантеса, требуя вручить его обратно писавшему: «Не могу принять письма, – отвечал Геккерен, – письмо не ко мне, а к вам». Тогда Пушкин бросает Геккерену письмо едва ли не в лицо, с ругательством: «Tu la recevras, gredin!» (Ты получишь его, подлец). Такую выходку почтенная хозяйка дома, конечно, одобрить не могла.

61

Тетка всегда называла своего мужа по фамилии.

Сестра ее, Александра Николаевна Гончарова, впоследствии баронесса Фризенгоф.

63

Баронесса Е. Н. Вревская была сестрою друга Пушкина, Алексея Николаевича Вульфа.

В прирейнских городах звание консула носили муниципальные чиновники, несшие обязанности, аналогичные обязанностям мэра или бургомистра.

Вышеприведенные генеалогические подробности необходимы для того, чтобы опровергнуть бездоказательное утверждение плохо осведомленных историков, изображавшее Жоржа-Шарля Дантеса незаконным сыном барона Геккерена, имя которого он принял в 1836 году.

66

Memoires d’un Royaliste, par le Comte de Falloux, de l’Academie Franpaise, 2 vol. Fans, librairie academique Didier-Perrin & C-ie, 1882, См. vol. 1, chap. IV, p. 132.

67

Мать барона Геккерена-Бевервarта была урожденная графиня Нассау.

68

Когда Жорж Дантес, барон Геккерен, вернулся во Францию, он занялся упорядочением своего положения применительно к французскому закону. Королевский указ от 1 апреля 1841 года разрешает ему носить имя Геккеренов с титулом барона.

69

Екатерина Гончарова родилась в Москве в 1808 году. Она была старшей дочерью Николая Гончарова и Наталии Загряжской. Она состояла в числе фрейлин императрицы. У графини Вандаль, ее второй дочери, сохранился бриллиантовый шифр, знак ее звания.

70

Графиня Нессельроде была женой графа Нессельроде, впоследствии канцлера русского императора (1760–1856).

71

«Полотняный Завод» А. Средина. – Старые годы, сентябрь 1910.

Матильда-Евгения родилась в Сульце 19 октября 1837 г. Берта-Жозефина родилась в Сульце 5 апреля 1839 г. Леони-Шарлотта родилась в Сульце 3 апреля 1840 г.

73

Княгиня *Ливен,* урожденная *Бенкендорф* (1784–1857), супруга генерала *Ливена,* российского посла в Берлине и Лондоне, поселилась в Париже после смерти мужа, и с 1836 года у нее был там политический салон, возможности посещать который весьма добивались. *Гизо* был связан с нею преданной дружбой.

74

Г-жа *Калержи,* урожденная Мария *Нессельроде* (1823–1874) и вышедшая вторично замуж в 1865 году за г. *Муханова.* В первые годы Империи у нее был в Париже салон, посещаемый художниками, писателями, музыкантами. Теофиль Готье посвятил в честь ее необыкновенной красоты одно из самых знаменитых стихотворений своего сборника «Эмали и Камеи»: *La Symphonie en Ыапс majeur.* Г-жа Калержи была племянницей *Нессельроде* и через семью отца была в родстве с *Гацфельдтами.*

Император лично назначал членов сената, они были несменяемы и получали годовой оклад 30 000 франков.

76

Lettres de Prosper *Menmee* a *Panizzi, 2* vol. Paris, 1881, t.1, pp. 178–180, lettre du 28 fevrier 1861: «После Жаклена появился Геккерен (убийца Пушкина), атлетического сложения, с немецким акцентом, с тяжелым видом; не знаю, сам ли он сделал свою речь, но произнес он ее превосходно и с сдержанной силой, производящей впечатление…»

77

Прусский посол в Париже **в** первые годы Империи, граф *Гацфельдт* был дядей барона *Геккерена* (См: Erinnerungen aus meinem Berufsleben, 1849, bis 1867, von Ereiherrn von Loe, Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart, 1906).

В 1909–1910 гг. появились три тома, озаглавленные: «Мемуары барона d'Anthes (Cocuault, 6dit. Paris), в которых ожидали увидеть личность барона Дантеса-Геккерена. Примечание издателя, напечатанное в начале третьего тома, устанавливает, что эти мемуары не имеют к нему никакого отношения.

79

Венгерский живописец Горовиц написал в 1862 году трех дочерей барона Геккерена во всем блеске молодости.

От первого брака с m-lle de Naives у графа Вандаля был сын Альберт, граф *Вандаль,* французский историк, член Французской академии.

81

Барон Жорж де Геккерен-Дантес-сын умер в Версале 27 сентября 1902 года. Он должен был на короткое время покинуть Эльзас, чтобы сохранить для своих сыновей, уроженцев Сульца, французскую национальность. Имение Сульц в настоящее время принадлежит его вдове баронессе де Геккерен-Дантес, урожденной Шауэнбург-Люксембур!.